

СОВРЕМЕНИК



SOVREMENNİK

№ 16

ТОРОНТО

СОВРЕМЕНИК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ

Благодарю Тебя. Творец, благодарю,
Что мы не скованы жемудростию узкой,
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский,
Что пламенем одним с Россией я горю.

Аполлон Майков

Декабрь 1967
№ 16

КАНАДА

1867 1967

"O Can-a-da! Glo-rious and free!"

(Из гимна "О Канада")



*От имени Издательского Объединения Современника
и Редакции*

поздравляю всех сотрудников и читателей журнала

СОВРЕМЕННОК

с Праздником Рождества Христова

и

с Новым Годом

Савин Валериан Лукьянович

ИСТОРИЯ КАНАДЫ*)

Второй период: первые шаги европейцев в новой стране.

После 1497 года капитан Джон Кабот и его сын Севастьян совершили еще несколько путешествий в Канаду, но так и не нашли пути в сказочно богатую Японию, Китай и Индию. Все, что они обнаружили — это рыбные богатства Ньюфаундлендской банки. Первым же в Индию попал, как известно, Васко да Гама в 1498 году, но совсем иным морским путем, вокруг Африки. Все же остальные продолжали плавать на запад и, достигая Нового Света, принимали его за азиатский континент. Между прочим, если бы да Гама попал в Индию несколькими годами раньше, то он мог бы встретить там русского купца Афанасия Никитина, который добрался туда через Персию и прожил среди индусов 3 года.

Когда Кортес обнаружил и завоевал в 1519 году богатейшее царство ацтеков, а Пизарро, несколько позднее, овладел древним перуанским государством инков, появились новые надежды на то, что и на севере, в частности в Канаде, европейцы смогут найти не менее богатые страны. Ведь тот факт, что на южно-американском золоте и серебре вечно бедная Испания стала в 16 веке быстро богатеть, не мог не обратить на себя внимания других европейских государств.

И вот в северную Америку начинают снаряжать новые экспедиции опытных мореплавателей. Для истории Канады наиболее важным из них был французский капитан из Сен Мало Жак КАРТЬЕ, которого отправил в путешествие король Франциск I-ый весной 1534 года.

КАРТЬЕ получил приказ найти морской путь в богатые азиатские страны или найти в северо-западной Атлантике такие новые земли, которые могли бы обогатить Францию драгоцен-

*) Начало было опубликовано в "Современнике" № 14-15 с указанием на то, что в основу этой "Истории Канады" был положен текст, подготовленный автором для его большого цикла программ на эту тему, передававшихся по Радио Канада на коротких волнах по случаю столетия Канадской Конфедерации.

ными металлами и камнями по примеру Испании. Франция же как раз перед этим потеряла «все, кроме чести», как выразился Франциск I-ый, потерпев поражение от испанцев в Италии.

Первое впечатление храброго капитана из Сен Мало от Канады было таким, как будто он высадился на луну, фотографии поверхности которой можно сейчас видеть в газетах. Вот что он записал об этом в свой судовый журнал:

«... эта часть суши вообще не должна была бы называться землей, так как состоит исключительно из камней и ужасных шероховатых скал. Я высаживался на берег во многих местах, но не обнаружил на нем достаточно земли, чтобы наполнить хотя бы одну повозку. Я поэтому склонен думать, что это именно то место, которое Господь Бог отдал Каину».

Где же Жак КАРТЬЕ нашел такой «лунный» ландшафт? — Оказывается, что он попал на берег очень суровой местности, известной сейчас под названием Лабрадор и принадлежащей теперь к канадской провинции Ньюфаундленд. Но вскоре капитану Картье повезло — он нашел узкий пролив, отделяющий на севере Лабрадор от острова Ньюфаундленда. Пролив этот — Бел-иль привел его в огромный залив Святого Лаврентия, в южной части которого Картье обнаружил большой остров известный под названием Остров Принца Эдуарда и составляющий теперь одну из десяти провинций Канады. После Лабрадора, этот остров показался французскому капитану просто раем на земле: чудная теплая погода, ласкающие взор леса и поляны, поросшие густой травой, плодородная земля, удобные бухты для стоянки судов. Повернув у острова на запад, Жак Картье вскоре достиг материковой части Канады, точнее полуострова Гаспэ, составляющего сейчас часть канадской провинции Квебек. Сойдя здесь на берег, он впервые встретился с жителями Канады, которых варяги когда-то в прошлом называли «скрелингами»; Колумб — много позднее — ошибочно принял их за жителей Индии, после чего они стали называться индейцами, хотя с таким же успехом могли быть названы китайцами или японцами. Последнее было бы во всяком случае более правильно, так как ученые теперь довольно точно установили, что первые жители Нового Света пришли сюда из северо-восточной Азии.

Первая же встреча с индейцами убедила французского капитана в том, что он и команда его двух судов, не первые белые люди, которых встречают эти темнокожие, полуголые

обитатели Канады. Между прочим, происхождение слова «Канада» точно не известно, так же, как и происхождение слова «Русь». Существует, правда, предположение, что слово Канада произошло от слова «каната», встречающегося в языке некоторых индейских племен и означающего «деревня». Говорят, что когда Картье спросил у индейцев как они называют свою страну, они ответили ему — «каната», думая, что он имеет в виду индейскую деревню на берегу.

Жак Картье писал, что индейцы, завидев его людей, сразу начали меновую торговлю; этим они, видимо, занимались с европейцами уже не первый раз. Это подтверждает мнение о том, что рыболовные суда из Европы проникали в 16 веке даже в залив Святого Лаврентия, лежащий к западу от острова Ньюфаундленд. Держались индейцы очень осторожно и не подпускали к берегу своих женщин. Видимо, им было уже по опыту известно, что европейские моряки не всегда ведут себя, как джентльмены, по отношению к чужим женам и дочерям.

Индейцев особенно интересовали все изделия из металла, в обмен на которые они предлагали меха и все, что у них вообще было. В судовом журнале капитана Картье мы находим по этому поводу следующие записи:

«... Туземцы проявляли невероятную радость при получении от нас различных вещей из железа и других товаров. Они танцевали, совершали различные обряды, поливали себе голову соленой водой и до того увлеклись меновой торговлей, что остались совершенно голыми. После этого они дали нам понять, что завтра вернуться вновь и принесут новые меха для обмена. Вообще же эти люди могут быть смело названы дикарями. Людей такого жалкого вида, как они, не найдешь, наверное, во всем мире...»

Там же, на полуострове Гаспэ, 24 июля 1534 года произошла очень важная для дальнейшей истории Канады церемония, которую капитан Картье описал так:

«... в присутствии индейцев мы соорудили большой 30-ти футовый крест, на который прикрепили герб с тремя лилиями и доску с надписью готическими буквами: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ФРАНЦИИ». Мы водрузили на берегу этот крест, встали перед ним на колени и, сложив руки, стали молиться. После молитвы мы, показывая на небо, старались объяснить индейцам, что так мы получаем оттуда отпущение грехов... Когда мы вернулись на наши суда, то к нам направилась пирога, в которой на-

ходился индейский вождь, одетый в медвежью шкуру, в сопровождении своих трех сыновей и своего брата. Указывая на крест, он произнес большую речь, после которой стал показывать на лежащую позади него землю как бы же ая сказать, что вся она принадлежит ему и что мы без его разрешения не должны были водружать на ней крест. Когда вождь кончил свою речь, мы стали протягивать ему топор, делая вид, что готовы обменять его на медвежью шкуру, в которую вождь был одет. Он сразу же согласился на такой обмен...»

Так, около четырех с половиной веков тому назад, на огромном, диком и суровом континенте, который Жак Картье все еще считал частью Азии, было символически положено начало европейской колонии, получившей впоследствии название Новая Франция. Упомянутый же капитаном Картье индейский вождь первым ступил на путь, по которому пошли затем очень многие коренные жители Канады, обменивавшие свои природные богатства и свой независимый образ жизни на дешевые предметы цивилизации. Многие считают, что индейцы не стали от этого счастливее, что они слишком дорого заплатили за приобщение их к этой цивилизации. Но об этом у нас речь будет еще впереди, а сейчас ограничимся лишь повторением приведенных нами слов об индейцах выдавшего виды французского капитана Картье: «... Людей такого жалкого вида, как они, не найдешь, наверное, во всем мире...»

Описанная нами встреча французских моряков с индейцами, имеет и еще одно большое значение для истории Канады, так как она положила начало торговле пушниной. Эти моряки в 1534 году не могли, конечно, и подозревать, какое колоссальное значение будет иметь пушнина для Новой Франции, а затем и для всей страны под названием Канада, которая со временем раздвинет свои границы от Атлантического до Тихого океана.

Осенью того же года Жак Картье благополучно вернулся во Францию, захватив с собой, с разрешения вождя, двух его сыновей. Эти два индейца вызвали к себе большой интерес при королевском дворе.

Рассказы же капитана Картье о том, что он видел в Канаде, не произвели большого впечатления на короля, не считая упоминания о том, что залив Святого Лаврентия, если следовать по нему на запад, может привести к богатым городам Азии. Для выяснения этого вопроса Жак Картье и был опять послан в Канаду в следующем 1535 году.

Король Франциск 1-ый очень нуждался в то время в средствах, из-за неудачной войны с Испанией, разбогатевшей на южно-американском золоте. Очень тяжелое положение создалось в то время и в России: в 1533 году умер мудрый Василий Третий; сыну его, будущему первому русскому царю Ивану Грозному, было только три года. В результате, наступила мрачная эпоха боярского правления, эпоха беззакония, насилий, смут, вражды и борьбы за власть. Как писал тогда летописец: «Многие мятежи и нестроения в те времена быша в христианской земле, государю младу суцу, а бояре на мзду уклонишася без възбранения, и много кровопролития промеж собою въздвигоша, и в неправду суд держаще, и всяк своим печется, а не государским, не земским».

Во второй раз Жак Картье — этот brave и отлично знавший свое дело капитан, достиг залива Святого Лаврентия уже в мае 1535 года. Первым делом он обследовал весь залив и убедился в том, что только в самой западной его части он распространяется в нужном ему направлении, превращаясь постепенно в устье огромной реки. Река эта, имевшая в ранней истории Канады такое же огромное значение, как для древней Руси Днепр — «водный путь из варяг в греки», известна сейчас под названием реки Святого Лаврентия.

Картье и его спутники были поражены величием, шириной и полноводностью этой реки — канадской Волги, красотой ее поросших лесом берегов, просторами нетронутых человеком земель, открывавшихся их взору при каждом изгибе этого водного пути.

Стоял сентябрь месяц, была чудная, теплая, солнечная погода и только удививший европейцев своей яркостью багряный убор некоторых кленов напоминал им о том, что наступает осень, первую часть которой, позднее, канадцы и американцы стали называть «индейским летом», а в России с давних пор называют «бабьим летом».

Когда французские моряки, пользуясь попутным ветром, прошли вверх по реке примерно 500 километров, они увидели вдруг на ее левом берегу величественную скалу с небольшой индейской деревней на ее склонах. Находившиеся на борту два индейца, которых Жак Картье взял с собой во Францию во время своего первого путешествия в Канаду, объяснили ему, что эта деревня называется Стадакона и что живущего в ней вождя зовут Дониакона.

Сходя на берег реки у подножья огромной дикой скалы, чтобы встретиться с индейцами, Картье и его спутники были, конечно, далеки от мысли о том, что на этой скале будет со временем построена столица Новой Франции с мощными крепостными укреплениями, дворцами и соборами, что именно на этой скале решится со временем судьба французских владений в Новом Свете, решится в пользу Великобритании, что на этой скале будет положено и начало нового большого государства, берега которого будут омываться тремя океанами.

Индейцы очень дружелюбно встретили первых европейцев, прибывших к ним. Они были в восторге от подарков, которые Картье им преподнес, с интересом рассматривали его судно, столь похожее издали на огромную многокрылую белую птицу и старались всячески задержать французских моряков у себя в Стадаконе, развлекая их песнями и плясками. Но капитан Картье стремился дальше вверх по реке Святого Лаврентия, так как не терял надежды, что где-то там, западнее, может быть, только еще за несколькими изгибами реки откроются вдруг стены, дворцы и храмы одного из тех богатых, огромных азиатских городов, о которых писал еще Марко Поло и о которых столько говорилось в Европе в 16 в. после того, как испанцы захватили древние мексиканское и перуанское государства. Но эти мечты не могли помешать французским морякам приходить в восторг от того, что они видели по берегам реки. Жак Картье писал :

«На том и другом берегу мы встретили самые изумительные и красивые земли, какие только можно себе представить. Эти земли ровны, как стол, и покрыты самым великолепным в мире лесом. У самых берегов реки мы увидели столько виноградников, отягощенных лозами, что, казалось, они могут быть посажены только людьми».

Наконец, пройдя вверх по реке Святого Лаврентия примерно на 250 километров, от индейской деревни Стадакона, капитан Картье увидел огромный плоский остров с горой посередине. Под горой была расположена окруженная тремя рядами высокого частокла другая индейская деревня, вокруг которой виднелись обработанные поля для выращивания маиса. Не трудно догадаться, что это был тот самый остров, на котором впоследствии вырос крупнейший город Канады — Монреаль, с его высотными зданиями, величественными со-

борами, красивым метро, тысячами улиц, запруженных автотранспортом, город, ставший сейчас особенно хорошо знакомым всем в связи с Всемирной выставкой, с участием 62-х стран. В том же месте, где под горой ютилась индейская деревня, называвшаяся Хочелага, стоят сейчас многочисленные здания известного университета Мак Гилл, среди студентов которого есть немало представителей Индии, Пакистана и других азиатских стран, о которых мечтал капитан Картье.

У нас сейчас среди молодежи мода к опрощению. Поэтому монреальцы любят острить, что некоторые студенты Мак Гилла с их заросшими головами и подчеркнуто небрежной одеждой мало чем отличаются по виду от тех идейцев, которых встретили в Хочелаге французские моряки четыре с лишним века тому назад!

Вернемся, однако, к нашему капитану и к тому, что он здесь наблюдал в 1535 году. Вот что он писал о деревне Хочелага и ее обитателях:

«Деревня состоит примерно из пятидесяти больших хижин, каждая в 50 шагов длиной и в 12-15 шагов шириной. Все они без полов, сделаны полностью из дерева и покрыты древесной корой искусно переплетенной на особый манер. Внутри каждого дома много спальных комнат, а посреди большое пространство, где горит костер и проходит совместная жизнь обитателей. Мы были приняты всеми очень сердечно и проведены на большую площадь посреди деревни. Затем к нам подошли все женщины этой деревни, некоторые с детьми на руках, и начали нас ощупывать, тереть наши лица, руки и другие части тела, выражая при этом такую радость, что некоторые из них даже плакали. Женщины знаками дали нам также понять, что мы должны положить руки на головы их детей. После этого, женщинам было предложено удалиться и их место заняли мужчины, которые сели на землю вскруг нас с таким видом, как будто мы собираемся разыграть перед ними какую-нибудь мистерию . . . » .

Картье и его спутники не собирались, конечно, что-либо разыгрывать перед индейцами. Но если бы мы могли перенестись сейчас в те очень далекие времена и взглянуть на эту картину: полуголые, украшенные перьями индейцы, французские моряки в красочной одежде 16 века, огни и дым от костров, могучая девственная природа вокруг, «державное течение» великой канадской реки, — разве все это не напомнило бы нам виденные на сцене исторические драмы и трагедии зна-

менитых европейских драматургов?! Французским морякам суждено было пережить в Канаде еще много драматического и даже трагического, но в тот день они не думали о будущем.

Познакомившись с жителями Хочелаги, французы обратили внимание на то, как бедно жили эти индейцы и сколько среди них было больных и калек.

Будучи верующим и добрым по натуре человеком, капитан Картье прочел им вслух Евангелие от Святого Иоанна и затем горячо помолился о их выздоровлении. Это было начало большой миссионерской работы Христианской Церкви среди коренных жителей Канады, работы, которая продолжалась веками и принесла индейцам больше пользы, чем многие другие виды деятельности европейцев на этом континенте. Так во всяком случае думает большинство канадских историков.

Помня о задаче, которую французский король поставил перед ним, капитан Картье, встретив индейцев, старался получить от них как можно больше сведений о Канаде. Особенно после того, как он убедился в невозможности следовать дальше вверх по реке Святого Лаврентия из-за больших порогов, обнаруженных французами выше острова, на котором они высадились. Между прочим, эти пороги были позднее названы Ля Шин, т. е. Китайские в связи с долго существовавшей уверенностью европейских путешественников в том, что где-то за порогами должен находиться Китай.

Не зная языка индейцев и не имея переводчика, Картье не мог добиться от них многого. Более того, объясняясь с ними жестами, обладавший богатой фантазией, Картье вообразил, что индейцы пытаются рассказать ему о том, что где-то в восточной Канаде существует, якобы, какое-то богатое королевство по имени Сагнэ. Так, между прочим, называется один из больших притоков реки Святого Лаврентия. Однако осень была уже в самом разгаре и французский капитан решил отложить поиски «королевства Сагнэ», а вместо этого заняться подготовкой к зиме — первой зиме на канадской земле. Эта перспектива, правда, мало беспокоила французских моряков, так как они не имели никакого представления о ледящей душу и тело суровости и продолжительности канадской зимы. Место, которое Картье избрал для зимовки находилось там, где теперь стоит город Квебек — столица французской Канады, т. е. место на два градуса южнее, чем Париж, который

вообще не знает зимы также, как и родина этого французского капитана Нормандия, омываемая теплыми водами Гольфштрема. Велико поэтому было удивление и беспокойство этих европейцев, когда над их головами уже в ноябре месяце завывала страшная пурга, когда снег, не перестававший падать целыми днями покрыл все густой пеленой, когда все усиливавшиеся морозы сковали даже поверхность великой реки, на которой стояли у берега на приколе их каравеллы.

Но, судя по всему, сама по себе, суровая, снежная зима в далеком диком краю не была так страшна капитану Картье и его спутникам, как та таинственная болезнь, которой они заболели уже в начале зимы и от которой они начали постепенно умирать. Вот что писал тогда об этом сам Картье:

«С середины ноября 1535 по середину апреля 1536 года наши суда лежали вмерзшими в лед толщиной более двух сажений. На берегу же лежал снег глубиной более четырех футов, так что он даже возвышался над фальшбортом наших судов. Кроме того, везде на палубах и в трюмах вырос лед толщиной в четыре пальца. Река же вся была покрыта льдом. За это время умерли от болезни, о которой я уже писал, 25 наших самых лучших моряков. Одно время казалось, что невозможно будет спасти и сорок человек, так как заболели все, кроме трех-четырех. Однако милосердный Бог сжалился над нами и сподобил нас прибегнуть к такому средству, которое исцелило нас всех . . . » .

Эта страшная болезнь была, конечно, цынга. Сейчас всем известно, что успешно бороться с цынгой можно витаминами, содержащимися главным образом в овощах и фруктах, но также и в коре некоторых растений. Между прочим, мало кто знает, что основоположником учения о витаминах является русский ученый Николай Лунин, умерший в 1937 г. В 16 веке, однако, люди о витаминах ничего не знали и поэтому бороться с цынгой не умели.

Из записок Картье мы узнаем, что спасли их от цынги индейцы селения Стадакона, у которого встали на зимовку суда французов. Индейское же средство, приготовленное шаманом и быстро поставившее на ноги всех больных, описывается Жаком Картье, как «отвар из коры вечнозеленых деревьев».

Этот замечательный случай в истории Канады положил начало обмену знаниями и опытом между европейцами и индейцами, обмену, который продолжается и в наше время. Канадских специалистов особенно интересуют целебные средств-

ва, которые веками с успехом применяли индейские врачеватели-шаманы для лечения различных недугов. Но шаманы, которые лечили не только тело, но и душу — были незаурядными психологами.

Средствами воздействия часто бывали ритуальные танцы и песни-заклинания, которые производили особенно большое впечатление, если они исполнялись шаманами с масками изображавшими головы мифических чудовищ. Вернемся, однако, к капитану Картье.

Весной 1536 года, как всегда в Канаде удивительно короткой и буйной, он поднял паруса и уже в июле месяце достиг Франции и бросил якорь в своем родном порту Сен Мало. Из всего того, что Жак Картье доложил, короля Франциска I заинтересовал лишь рассказ о богатом азиатском «королевстве Сагнэ», которое якобы находится где-то в восточной Канаде.

Люди в прошлом были такими фантазерами, что им могли бы позавидовать даже современные авторы научно-фантастических романов. Взять хотя бы греческую мифологию с ее бесчисленными персонажами, с удивительной легкостью совершающими самые невероятные вещи и без труда дающими ответ на все вопросы, над которыми до сих пор бьются ученые. Но не только у древних греков была столь богатая фантазия. Сходные мифологии были созданы и другими народами, в том числе и канадскими индейцами.

Если в существование Атлантиды в глубокой древности верил Платон и до сих пор верят некоторые ученые, (особенно после находок сделанных недавно археологами в Эгейском море) то в существование восточно-канадского «королевства Сагнэ» верили только в течение нескольких лет после того, как капитан Картье вернулся во Францию из своего второго путешествия в Канаду. И все же это фантастическое королевство сыграло некоторую роль в истории Канады. С легкой руки кап. Картье, который, напомним, объяснялся с индейцами только с помощью жестикующий, в Париже начали говорить о том, что канадское королевство Сагнэ превосходит по своим богатствам даже покоренные к тому времени испанцами мексиканское и перуанское государства. Слухи эти быстро донесли до испанского двора и вызвали там большое беспокойство. Дело дошло до того, что Франции было указано на недопустимость вмешательства в дела Нового Света, который, мол, находится под исключительным контролем Испании. Однако французский король не обратил внимания на угрозы ис-

панцев и решил направить в Канаду в 1541 году целый караван из 10 судов, на борту которых находилось 400 моряков, 300 солдат, некоторое число опытных ремесленников и даже несколько женщин «легкого поведения». Кроме того, на суда был погружен скот, оружие, запасы продовольствия и тому подобное. Руководить всей этой большой экспедицией было поручено видному вельможе Жану Франсуа де ля Рок де Роберваль. Капитан Картье был приставлен к нему как главный навигатор.

Франциск I поставил перед ними задачу подготовить почву для завоевания пресловутого королевства Сагнэ. Для этого французы должны были продолжить изыскания, начатые в Канаде Жаком Картье и, найдя подходящее для этого место, создать там постоянное поселение, которое могло бы служить базой для военных действий против этого королевства.

В действительности, в 1541 году в Канаду отправились не десять, а только пять судов под командой капитана Картье. Роберваль с остальными пятью судами мог покинуть Францию только в следующем году.

Достигнув благополучно того места, где теперь на реке Святого Лаврентия стоит город Квебек, Жак Картье создал на берегу свою базу. Знакомясь с окружавшей их местностью, спутники капитана сделали вскоре одно открытие, вызвавшее у всех большой интерес и возбуждение. Вот как рассказывается об этом в записках, сохранившихся с тех времен :

«... Поднявшись на одну из больших скал, расположенных недалеко от нашего форта, мы нашли там бивший из земли фонтаном родник. Рядом с ним мы обнаружили множество камешков, которые выглядели как алмазы... Поднявшись выше, мы наткнулись на скалу, напоминавшую по виду черный шифер, внутри которого видны были жилы других минералов, похожих на золото и серебро. Эти жилы видны были повсюду, где только мы видели подобные скалы черного цвета. В некоторых же местах встречались и камешки, напоминавшие по виду бриллианты, настолько хорошо полированные и так красиво граненые, что ничего лучшего люди, наверное, еще не видели. Когда солнце падает на них, то они вспыхивают как огненные искры».

Капитан Картье был, конечно, очень обрадован этими удивительными находками, особенно потому, что он не мог узнать ничего нового о созданном его собственной богатой фантазией королевстве Сагнэ. Теперь, во всяком случае, он не будет вынужден возвращаться во Францию с пустыми руками.

Благополучно перезимовав в Канаде, Жак Картье нагружил свои суда найденными драгоценностями и отправился весной 1542 года в обратный путь с уверенностью, что сможет на этот раз поразить любого европейского короля. Однако эти канадские драгоценности оказались столь же призрачными, как и канадское богатое «королевство Сагнэ». Прибыв во Францию, бедный капитан Картье узнал, что привезенное им золото — это всего лишь ничего не стоящий пирит или «золото дураков», как его принято называть в народе, а бриллианты — куски кварца, также не имеющего никакой цены. Правда, благодаря Картье французский язык обогатился тогда новым выражением "Les Diamants Canadiens" — «Канадские бриллианты», употреблявшимся вместо слов «никчемный», «ничего не стоящий». Между тем Рсберваль, которого Картье встретил у Ньюфаундленда на своем пути назад во Францию также побывал в местах, описанных Картье и даже перезимовал в Канаде, но потеряв 60 человек, главным образом из-за цынги, вернулся ни с чем во Францию на год позднее.

Так закончилась первая и безуспешная попытка французов создать на территории Канады маленькую колонию, которая могла бы служить базой для дальнейших исследований и проникновения вглубь континента, тогда все еще считавшегося азиатским.

Вскоре после описанных нами событий, в Европе начались продолжительные религиозные войны и Франция почти пол века не предпринимала никаких шагов для колонизации Канады. Нельзя, однако, сказать, что все труды Жака Картье пропали даром. По проложенному им пути пошли другие моряки, которые, правда, не были исследователями или завоевателями; их мало интересовали фантастические и полужантасические богатые страны на этом континенте. Речь идет о европейских рыбаках, действовавших на свой страх и риск, а не по указке государства и интересовавшихся только рыбой. Рыбы же в канадских водах, в том числе и в реке Святого Лаврентия, было масса.

По дошедшим до нас с тех времен сведениям, в конце 16 века в этих водах бывало до 500 рыбацких судов в год: французских, испанских, португальских, английских и других. Известно также, что под конец 16-го века испанские рыбаки — баски создали даже постоянную базу на реке Святого Лаврентия в трехстах километрах от устья в том месте, где в нее впа-

дает большая река Сагнэ — имя навсегда связанное в истории с капитаном Картье и его фантастическим канадским королевством.

Главным местом для ловли рыбы была, конечно, знаменитая Ньюфаундлендская банка, где до сих пор можно видеть рыболовные тральщики европейских стран. Не удивительно поэтому, что именно на острове Ньюфаундленде стали создаваться в 16-м веке первые базы европейских рыболовов, где летом велась сушка рыбы перед ее отправкой за океан. Там же, а затем и на материковой части Канады, стала развиваться и меновая торговля с индейцами, которые в обмен на различные европейские изделия снабжали бледнолицых моряков пушниной. Таким образом, еще четыре века назад было положено начало тому промыслу, который сыграл впоследствии такую огромную роль в канадской истории.

Французы же, несмотря на все неудачи, постигшие их в Канаде, и несмотря на то, что бурные события в Европе во второй половине 16 века не давали им возможности продолжить дело, начатое капитаном Картье, — не отчаялись. Однако создать здесь маленькую колонию, получившую громкое название Новой Франции им удалось только в начале 17 века.

Хотя Картье не достиг таких успехов, как испанцы Кортес и Пизарро, он, благодаря произведенным им здесь исследованиям, занял прочное и почетное место в истории Канады.

В отличие от жестоких, жадных до золота авантюристов типа Кортеса и Пизарро, которых в 16 веке можно было встретить в Европе на каждом шагу, Жак Картье был на редкость добрым, честным и религиозным человеком. Например, капитан Картье считал всех индейцев равными себе и указывал, что они такие же дети Господа Бога, как и все европейцы. К сожалению, не все думают так, даже и в наше время — четыре с лишним века после того, как Картье последний раз побывал в Канаде!

Как мы уже упоминали, европейские государства были настолько заняты во второй половине 16 века религиозными войнами и раздорами политического характера, что почти не имели возможности заниматься дальнейшим проникновением в заморские страны и созданием в Новом Свете своих колоний. Когда историки говорят об этих временах, то употребляют выражение «Смутное время», относя его, однако, только к России конца 16 и начала 17 века. Но, нам кажется, что столь же «смутным» было положение во второй половине 16 века

во всей Европе. Нельзя, правда, сказать, что Канадой в этот «смутный» период в истории европейцы перестали интересоваться. Однако в основном этот интерес носил частный, коммерческий характер. Вначале, как мы уже отмечали, канадские воды привлекали предприимчивых европейцев своими невиданными рыбными богатствами, затем большими стадами китов и кетиков, которые ежегодно появлялись у берегов Канады. Наконец, после того, как эти безвестные европейские моряки наладили контакты с индейцами восточной Канады, они обнаружили новые природные богатства этой страны, но на этот раз на суше.

Мы имеем в виду пушнину, которая в 16 в. из года в год стала все больше и больше цениться в Европе, особенно в связи с модой на фетровые головные уборы и меховую одежду. Собственно говоря, речь шла об одном виде пушного зверя — канадском бобре, из шкурок которого выделялся самый лучший фетр. Для этой цели, правда, бобровые шкурки должны были быть так обработаны, чтобы на них оставался только так называемый «подшерсток» — пушистая, нежная шерсть растущая, как нижний слой шерсти называемой специалистами «остевым волосом». Интересно, что если человек наденет на голое тело одежду из бобровых шкурок шерстью внутрь, обмазавшись предварительно животным жиром, а затем будет изо дня в день сидеть в дыму от костра горящего на полу его жилища и потеть, то через несколько месяцев все длинные «остевые волосы» выпадут сами собой из этих шкурок и на них останется только хоть и грязный, но нежный «подшерсток»!

Вы спросите, конечно, какой же человек согласится на подобное «хождение по мукам» во имя какого-то бобрового подшерстка?! — Действительно, далеко не каждый европеец даже в 16 веке пошел бы на такие муки только для целей обработки шкурок пушного зверя. Но если бы вы имели возможность перенестись на четыре столетия назад и посмотреть на жизнь канадских индейцев, то убедились бы в том, что они тогда и жили именно так, что шкурки бобров на них «обрабатывались», как указано выше; жили так многие столетия, как свидетельствуют археологи и историки.

В теплое время года канадский индеец ходил голым, с телом, густо намазанным животным жиром, что с одной стороны ~~предохраняло его от комаров и гнуса~~, которых в канадской тайге водится не меньше, чем в русской, а с другой — позво-

ляло ему сохранять кожу нежной, как у ребенка, что считалось большим достоинством.

В холодные же время года индеец носил очень просто сшитую из шкур бобра одежду мехом внутрь, надевавшуюся прямо на голое тело. Бобровые шкурки предпочитались всем другим, так как считались самыми прочными, а также потому, что бобры водились в изобилии во многих частях Канады. Свои примитивные жилища индейцы отапливали и освещали с помощью костра, разводившегося прямо на земляном полу. При этом дым от такого костра, на котором готовили также и пищу, очень редко уходил полностью в отверстие, оставленное для этого в крыше жилища. Вынужденные в холодные время года жить постоянно в дыму, канадские индейцы часто страдали из-за этого глазной болезнью, на что обратили внимание еще первые европейцы, побывавшие в Канаде.

Вернемся, однако, к тем предприимчивым европейским морякам, которые положили в 16 веке начало меновой торговле с канадскими индейцами с целью приобретения у них пушнины, — торговле, которая сыграла настолько большую роль в истории нашей страны, что по мнению многих не кленовый лист, а бобровая шкурка должна была бы стать официальной эмблемой Канады. Когда европейцы, плававшие к берегам Канады, убедились в том, что индейцы охотно снимают с плеча свою меховую одежду и отдают ее за дюжину металлических рыболовных крючков, за чугунный котелок или за несколько ножей, то они все больше и больше стали интересоваться подобной очень выгодной меновой торговлей. Индейцы, правда, очень удивлялись, почему европейцы всегда предпочитали покупать старые бобровые шкурки, снятые с плеча, а не новые, чистые! Так или иначе, индейцы восточной Канады, жившие тысячелетиями в тяжелых и примитивных условиях каменного века, были очень рады всем тем европейским товарам, которые они смогли выменивать на пушнину. Эта меновая торговля с европейцами в 16-м веке быстро привела к революционным изменениям в образе жизни канадских индейцев, — образе жизни, который не менялся с незапамятных времен.

Нам сейчас просто трудно себе представить какое значение мог иметь, например, стальной нож, крючки для ловли рыбы или топор, не говоря уже об огнестрельном оружии, для человека, живущего в джунглях дикой страны и имеющего в своем распоряжении только деревянные и каменные орудия

самого примитивного вида. Габриэль Сагар, один из самых первых историков Канады и один из самых первых французских миссионеров, приехавших в нашу страну еще в начале 17 века, писал:

«Индейцы считали, что только самые знаменитые французские капитаны могут обладать таким великим умом, какой необходим для создания столь сложных и замечательных вещей, как стальной нож, топор или чугунный котелок. Зная же, что король Франции стоит выше всех капитанов и командует всеми ими, индейцы были уверены в том, что наш король способен делать самые большие чугунные котлы и самые лучшие ножи и топоры».

Развитие меновой торговли привело к созданию во второй половине 16 века на реке Святого Лаврентия особой меновой базы, получившей название Тадуссак. Туда, в определенные времена года съезжались на пирогах, груженных пушниной, сотни индейцев и приходили из-за океана десятки парусников с меновым товаром. Однако, по мере того, как спрос на канадские меха все повышался и индейцам становилось все труднее его удовлетворять, они стали требовать все большую плату за свою пушнину. Поэтому, чтобы не лишиться своих хороших доходов, некоторые французские купцы стали добиваться от короля монопольных прав на меновую торговлю на территории Новой Франции, как в конце 16 века стали называть восточную часть Канады. Но те купцы, которые, благодаря своим связям при французском дворе, могли рассчитывать на получение подобной монополии, сознавали, что это будет сопряжено для них с двумя большими трудностями: во-первых, король потребует за это создания постоянных французских поселений в Канаде для оправдания своих претензий на ее территорию, а во-вторых, купцам придется как-то бороться с другими европейскими охотниками до дешевой пушнины, в частности с англичанами, которые, развив при Иване Грозном большую торговлю с Россией, начинали под конец 16 века все больше и больше интересоваться Новым Светом.

До сих пор, говоря о ранней истории Канады, мы упоминали индейцев, варягов, испанцев, итальянцев, французов и почти ничего не рассказывали об англичанах. Объясняется это тем, что Англия только в конце 16 века стала проявлять интерес к Канаде.

В середине 16 века, с благословения Ивана Грозного, питавшего большие симпатии к Англии и даже думавшего одно

время жениться на королеве Елизавете Первой, англо-русская торговля стала быстро развиваться. Эта торговля была настолько выгодной для англичан, что у них не было такой срочной необходимости, как у французов, искать морских путей в Азию или пытаться найти какие-то богатства в дикой и далекой Канаде. До второй половины 16 века у англичан не было того флота и тех опытных и храбрых капитанов, которые впоследствии стали столь знаменитыми на всех морях и океанах и превратили Великобританию в первую в мире морскую державу. При этом интересно отметить, что в отличие от французов, английские мореплаватели долгое время интересовались только канадским севером, где они с поразительным упорством и смелостью искали морского прохода в обход континента, искали и не находили. Найти этот проход и достичь по нему Тихого океана удалось только в начале 20 в. норвежцу Амундсену. Однако, плавания английских капитанов и исследователей принесли большую пользу, так как, благодаря этим экспедициям, иногда заканчивавшимся весьма трагически, на карту был постепенно нанесен весь огромный канадский Арктический Архипелаг и очертания северных берегов нашего континента.

Первым из известных нам английских мореплавателей, заинтересовавшихся северным морским путем вокруг Нового Света был капитан Мартин ФРОБИШЕР. На хранящемся в Оксфорде старинном портрете он изображен держащим в правой руке кремневый пистолет, а левой опираясь на эфес шпаги. Возможно, что изображая Фробишера в такой боевой позе, художник хотел подчеркнуть редкое упорство и смелость, которыми отличался этот капитан. Известно, что он десять лет убеждал англичан в необходимости найти северный проход для судов, стремящихся попасть в Китай и Индию. Наконец, в июне 1576 года Мартин Фробишер вышел в море на трех небольших судах, из которых только одно достигло берегов Канады. Земля, которую увидел Фробишер, оказалась, как позднее выяснилось, огромным островом, известным сейчас под названием Баффиновой земли. Увидев у ее южной оконечности большой пролив, капитан Фробишер решил, что он может привести его в Азию. Это был, однако, всего на всего лишь большой залив, носящий теперь название залива Фробишера.

На берегу этого залива английские моряки встретили первых эскимосов и приняли их за жителей Азии. Потомки этих «азиатов» до сих пор — почти четыре века спустя, живут на берегу залива Фробишера, где теперь лежит небольшой го-

родок со всеми современными удобствами и трансполлярный аэропорт. Автор этих строк побывал там несколько лет назад и записал на ленту ряд старинных эскимосских песен, которые, может быть, слышали и Фробишер с его спутниками. Песни эти, как ни странно, напоминают старинные славянские народные песнопения!

Потеряв по неизвестным нам причинам часть команды, Фробишер прекратил дальнейшие исследования и вернулся в Англию. Не желая возвращаться домой с пустыми руками, он захватил с собой одного эскимоса и различные сувениры в том числе и кусок черного камня с прожилками минерала, напоминавшего золото. И вот тут повторилась почти в точности та же история, которая несколькими годами раньше произошла с французским капитаном Картье. В Англии решили, что капитан Фробишер обнаружил на севере Канады золотые россыпи, нашел там золотые копи царя Соломона, как уверяли публику некоторые лондонцы того времени, обладавшие особенно богатым воображением. Находкой своего подданного заинтересовалась сама королева Елизавета и приказала ему направиться в новое путешествие на север Канады, на этот раз исключительно за золотом. Когда Фробишер вернулся назад с тремя судами полными черного камня с золотыми жилами, то королева приказала немедленно запереть этот ценный груз в подвалы ее замка. После этого возмущение в Англии достигло таких размеров, что капитана Фробишера отправили в 1578 году в третью экспедицию, которая состояла уже из 15 судов снаряженных на средства, наперебой предлагавшиеся многими англичанами. Цель экспедиции — канадское золото, которого, между прочим, в Канаде очень много, но не там, где побывал Фробишер. Когда эта армада вернулась с Баффинсвой земли в Англию, то минералоги быстро установили, что в привезенном ею черном шифере содержится не золото, а самый обыкновенный и ничего не стоящий пирит. Бедный Мартин Фробишер, так же, как и Жак Картье до него, после этого впал в полную немилость и мог восстановить свое доброе имя только во время известного морского сражения английского флота с испанской армадой, проявив себя на редкость храбрым и волевым капитаном.

Человек, который отправился вскоре после Фробишера в воды, омывающие Канаду с севера, был совсем иного склада. Мы имеем ввиду капитана Джоза ДЭВИСА, который со своим

мирным, мягким характером и большой ученостью резко отличался от всех известных мореплавателей времен королевы Елизаветы Первой.

Дэвис, которому навигаторы обязаны изобретением прибора для определения географической широты, внес очень большой вклад в изучение Гренландии и канадского севера. За свои три путешествия в Новый Свет, начавшиеся с 1585 года, этот капитан-ученый составил подробные карты большого пролива, названного его именем, а также Баффинового залива, описал ледовый режим в них, подробно ознакомился с флорой и фауной севера, и детально изучил жизнь эскимосов.

Капитан Дэвис, с мнением которого все очень считались, был уверен, что в канадской арктике существует морской проход в Азию. Такую же уверенность выражал в то время и другой очень видный англичанин, даже написавший на эту тему целую книгу. Его звали сэр Хамфрей ГИЛЬБЕРТ. Англия многим ему обязана, в частности основанием первой в мире английской колонии, получившей название Ньюфаундленд. Это событие произошло в 1583 году. Гильберт мечтал переселить на остров Ньюфаундленд бедный люд из Англии, обучить его здесь и организовать производство всех тех европейских вещей первой необходимости, в которых так нуждались индейцы. Однако этот замечательный человек погиб в том же году во время шторма на обратном пути в Англию. Сохранились его последние слова, обращенные к команде перед гибелью судна: «Не робейте, друзья, от моря до неба не дальше, чем от суши до неба!»

Ньюфаундленд оставался английской колонией до 1949 года, после чего стал одной из провинций Канады. После того, как в 1588 году конфликт между Англией и Испанией вылился в большую войну, англичане прекратили посылать свои суда в Канаду для нахождения морского пути в Азиатские страны. Этим тогда занялись голландцы, давно завидовавшие англичанам, сумевшим развить столь выгодную торговлю с Россией. Известный Баренс и другие голландские мореплаватели решили, однако, искать морской путь в богатые страны Востока не к северу от Канады, а к северу от России, вокруг Сибири, которую тогда как раз начали завоевывать русские, с легкой руки бравого казака Ермака Тимофеевича.

(Продолжение следует) .

ПАУЛИН ДЖОНСОН - ТЕКАГИОНАУКЕ
(PAULINE JOHNSON - ТЕКАНИОНВАКЕ)
ИНДЕЙСКАЯ ПОЭТЕССА И НОВЕЛИСТ (1862 - 1913)



ТЕКАГИОНАУКЕ НА ЯЗЫКЕ ИНДЕЙЦЕВ — ДЫМКА
ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ.
ПАУЛИН ТЕКАГИОНАУКЕ — ДОЧЬ ВОЖДЯ ШЕСТИ
ПЛЕМЕНИ, РОДИВШАЯСЯ В ПЛЕМЕНИ МОГАУК ОКО-
ЛО БРАНДФОРДА В ПРОВИНЦИИ ОНТАРИО — ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ ИНДЕЙСКАЯ ПОЭТЕССА И НОВЕЛИСТ.



And up on the hills against the sky
a fir tree rocking its lullaby
Swings, swings
Its emerald wings
Swelling the song that my paddle sings

ПЕРВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПАУЛИН ТЕКАГИОНАУКЕ ПО-
ЯВИЛИСЬ В НЬЮ-ЙОРКСКОМ ЖУРНАЛЕ "Gems of poetry" В
1882 ГОДУ, КОГДА ЕЙ БЫЛО ТОЛЬКО 20 ЛЕТ, ОДНАКО ПРИ-
ЗНАНИЕ ОНА ПОЛУЧИЛА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫСТУПИЛА С
ЧТЕНИЕМ СВОИХ СТИХОТВОРЕНИЙ НА ВЕЧЕРЕ ПОЭТОВ И
ЛИТЕРАТОРОВ В ГОРОДЕ ТОРОНТО В 1893 ГОДУ.

ПРОЧИТАННЫЕ ЕЮ СТИХОТВОРЕНИЯ "ПЕСНЯ, ЧТО ПОЕТ
МОЕ ВЕСЛО" (The song my paddle sings) И "ПЛАЧ ЖЕНЫ

ИНДЕЙЦА“ (A cry from an indian wife) БЫЛИ ВСТРЕЧЕНЫ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ — ОНИ ПОРАЗИЛИ СЛУШАТЕЛЕЙ НОВИЗНОЙ НАПЕВНОЙ ФОРМЫ И НЕИЗВЕСТНОЙ ДО НЕЕ ИНДЕЙСКОЙ ТЕМАТИКОЙ.

ПОЗДНЕЕ, ПАУЛИН ТЕКАГИОНАУКЕ ОПУБЛИКОВАЛА СБОРНИК СВОИХ СТИХОТВОРЕНИЙ ” БЕЛОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ “ (The white wampum), ИЗВЕСТНЫЙ ТЕПЕРЬ ПОД ИМЕНЕМ ”КРЕМЕНЬ И ПЕРО“ (Flint and feather) И ЧУДЕСНЫЕ ”ВАНКУВЕРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ“, ЗАПИСАННЫЕ ЕЮ СО СЛОВ СТАРОГО ИНДЕЙСКОГО ВОЖДЯ ДЖО КАПИЛАНО. ОДНУ ИЗ НИХ — ”ДВЕ СЕСТРЫ“ МЫ ПРИВОДИМ НИЖЕ. ПЕРЕВЕЛА С АНГЛИЙСКОГО К. И. МАТИАШ .

Паулин Джонсон — Текагионауке

ДВЕ СЕСТРЫ

Индийская легенда .

Их можно видеть, если смотреть на Северо-Запад, где горы уходят в небо среди вечно движущихся жемчужно-светлых перистых облаков. Они ловят первый, еще сонный взгляд рассвета; им дарит свой последний отблеск вечерняя заря. «Львы Ванкувера» — под этим названием известны по всей Британской Империи горы - близнецы, двойная вершина которых возвышается над красивейшим городом Канады.

Иногда дым лесных пожаров обволакивает их и они, передаваемо прекрасные, светятся опалами на фоне лилового неба. А потом косые дожди драпируют их голубыми шарфами тумана, очертания их растворяются и тают, тают, вечно тают в высоте. Но большую часть года солнце окружает их золотым ореолом. Луна оmyвает их струящимся серебром. Нередко, когда сплошная пелена дождя окутывает город, солнце зажигает снег на этих вершинах темно-оранжевым пламенем. Стоят они недвижимо, улыбаясь беспокойному океану на западе, любяясь безмолвным великолепием Каньона Капилано на востоке.

Название «Львы Ванкувера» незнакомо индейским племенам: они знают и любят эти вершины как «Две сестры». Легенду о них рассказал мне вождь индейского племени, задумчиво глядя перед собой.

”Много тысяч лет назад, — начал он, — здесь не было вершин-близнецов, подобно часовым охранявшим берег моря: их поставил сюда Великий Сагали Тайн, который когда-то вылепил причудливые формы гор, начертал узоры рек, наполненных рыбой, вырастил густые, полные дичи леса, потому что Сагали Тайн любил своих индейских детей и мудро заботился о них.

В те времена вдоль побережья Большой Воды было много могучих индейских племен, которые жили на горных склонах, у истоков и на берегах Великой реки Фрейзер.

Краем правили по индейским законам. Царили индейские обычаи, индейские верования. Это был легендарный век, когда совершались великие дела, создавались традиции, о которых мы рассказываем нашим детям сегодня. С тех времен сохранилась легенда о ”Двух Сестрах“, известных нам как ”Дочери Вождя“. Им мы обязаны Великим Соглашением, царящим среди нас в течение несчетных нозолуний.

У племен западного побережья существовал древний обычай: каждый отец устраивал для своей подросшей дочери большой потлач — пир, который продолжался много дней и ночей. Девушке отводилось почетное место, потому что она была готова к замужеству, а замужество означало материнство и появление новых храбрых воинов и новых матерей.

Много тысяч лет назад у Великого Вождя Тайн было две дочери — молодые, ласковые, красивые. Они созрели к тому времени, когда рыба наполняла реки и пышно цвели кусты оллала.

Великий Вождь готовился устроить для своих дочерей такой праздник, какого еще не видало побережье Большой Воды. Многие племена пригласил он на праздник и лишь война с одним из северных племен омрачала всеобщую радость.

Но Великий Вождь решил, что война не должна нарушать традиции его племени и стал готовиться к приему гостей на празднике в честь своих дочерей.

За семь дней до праздника девушки пришли к отцу и попросили у него великой милости — они захотели пригласить на свой праздник и вражеское племя.

Не отказал отец любимым дочерям, а вражеское племя с радостью отозвалось на приглашение; их люди

пришли на праздник с женщинами и детьми, принесли с собой богатые дары: дичь и рыбу, золотые и белые бусы, пестрые корзины и резные весла, чудесного тканья одеяла, — все это они сложили к ногам своего нового вождя.

С тех пор наступил мир между издавна враждующими племенами и навсегда умолкли боевые кличи и песни.

С улыбкой глядя на мирное веселье своих индейских детей, Великий Сагали Тайн сказал: "За мудрость и доброе сердце я сделаю этих сестер бессмертными!". С этими словами он поднял и навсегда посадил их на самое почетное место.

Эти девушки подарили своему племени двух детей — Мир и Братство, которые с той поры правят этим краем . . .

И еще долгие тысячелетия Две Сестры будут охранять мир побережья Заходящего Солнца и тишину Каньона Капилано“ .



СМУТА.

— * —

Часть вторая «ПОЛЫМЯ НА РУСИ»

Крылатые польские легионы все более и более надвигались на Русь. Они шли грозвыми тучами, гонимые западным ветром, как идут недруги в надежде на поживу — с ними шли и прочие инземцы. Так вслед за хищным зверьем летит воронье, так бегут трусливые трупоядцы, подбирая остатки.

Крылатые легионы почти не встречали сопротивления.

Часть из них уже сидела в Москве, в Калуге, в Зарайске, в Шуме, в Суздале, в Угличе.

Одного боялись легионы и их предводители — густых, непроходимых лесов в Муроме, в Рязани, в Брянске, в Чернигове.

Оттуда навстречу врагу шли отряды русских, украинцев и даже теперь татар.

Татары освоились на Руси и только часть из них — вольница кочевая — еще гнездилась в былом царстве Боспорском; опоясывая море, сидели в Каффе и не противились Исламу.

А Ислам — союзник Польши выжидал. Турецкий султан не давал войска ятаганного, потому что король Сигизмунд III прислал к нему монаха с грамотой, в которой туманно говорилось о юге Руси. Турецкие рати, изрядно потрепанные запорожской вольницей, отлеживались в гаремах, в сералях, за душистым достарханом, сдобренным кальянной трубкой.

В селах Украины, где после Батыя уже обстроились, обжились, уже сменились поколения, где только сивоусые деды пели о злом коршуне Батыге — уже там появились польские «налеты». Так звались отдельные, хорошо вооруженные от-

ряды, под началом какого-ни-на-есть усатого пана хорунжего, а часто и переметчика русского из западных краев.

В самой Москве, в сердце Руси, бояре приговорили просить наияснейшего короля Польши дать своего сына, отрока Владислава на престол.

Великая пря была.

Кое-кто из бояр настаивал, стуча посохом и колыхая тучным чревом:

— Должен королевич венчаться на царство аки православный, единой церкви с нами, а Жигимонт как уже сам возжелает.

Были и такие, что без обиняков толковали:

— Владислав млад есть, куда ему справиться! Пусть царствует Жигимонт сам, пусть русское царство да польское едино будет! —

Тут многие бояре покидали на-земь свои посохи и, крестясь и чураясь от таких речей — отъезжали в свои дальние вотчины отсиживаться.

А там, что Бог даст. Не допустит Господь — мы, мол, третий Рим, оплот христианства, наследники Византии.

Такая пря была на руку Сигизмунду. Он рассылал попрежнему тайных людишек сеять смуту среди русских, среди украинцев и белоруссов.

— Когда яблоко подгниет, альбо червец подточит его стбель, оно само падет с древа. Так и тут. Падет Русь к ногам вашего преславного величества! — Так говорил королю его духовник.

Без совещания с духовником Сигизмунд ничего не предпринимал. Перед острым взглядом духовника более робели, чем перед самим королем.

Король любил попить, закрутить усы перед какой-нибудь госпожней в кровном майонтке, выписать из Парижа еще пятьдесят камзолов и бутыль с ароматами, да чтоб к камзолу были воротники крахмальные, а к шляпе перо такое, что над ним трудились королевские швецы осыпая его мелкими алмазами.

Второй сын Сигизмунда, Таддеуш, был отправлен в Париж для прохождения науки французских учтивств, политесу и прочих ухищрений.

Но французский посол все еще вертел хвостом, как лиса. Только Ван-дер-Стратен недавно презентовал Сигизмунду везы с голландской сталью, уже перекованной в сабли и столь-

ко же мушкетов с багинетами. Сигизмунд недвусмысленно кое-что обещал

Духовник же короля был великого ума монах. Выученик коллегии, он метил на пост генерала Ордена, если паче чаяния откроется место.

От него, как от паука, сидящего в уголку паутины, расходились по всем направлениям тончайшие, но крепкие нити. Однажды к нему, на ночь глядя, явился человек в одеянии православного монаха-странника.

Слуги было не хотели его пускать, да он им такое слово сказал, что они только поклонились в пояс и не стали перечить.

— Садись, дорогой брат во Христе, — после приветствия сказал королевский духовник и, хлопнув трижды в ладоши, велел принести ужин и доброго вина пришьельцу.

— Новости мои, ваша велелебность, весьма значительны. Известная персона бывшего царя московского уже не светское лицо, а духовное. Пострижен в Обдорском монастыре и наречен Досифеем. А главное, в монастыре гащивает атаман бродяжий из боярского рода по имени Борис. И мыслят они противу яснейшего короля, мыслят поднимать днепровских и донских казаков на бой противу боголюбивейшего короля нашего, да продлит ему Господь дни его во славу Речи Посполитой!

— Амен, — по-латыни промолвил королевский духовник. — Продолжай брат мой! —

— Оный атаман Бориска возмутил казачишек, коими управляет Сидор Валуи. Оный Сидорка великий смутьян, одначе за ним идут людишки, которые уже нанесли немалый ущерб войску нашему. А сидят эти казачишки в степях и лесах днепровских на подступах к воеводству Киевскому. Да и на землях Новугорьских неспокойно, на землях низовских. Все сие чинит атаман Бориска.

Посланный помолчал. Отпил глоток вина.

— А главная весть — царик, коего именовать велено Дмитрием, сидевший в Тушине, убит. А убил его какой-ни-насть татарчук по пьяному делу, хоть татарчуку их Магоммет вино пить запрещает. Напились и задрались. Не упомяну имени сего мухамеданина. А пани Мнишкова сейчас в стане Ивана Заруцкого.

— Вести твои поистине важные. Вот тебе за них. — И королевский духовник протянул мешочек с золотыми, потом снова хлопнул в ладоши и сказал слуге:

— Скажи хлопче, чтобы Мариан был готов к завтраму к утру в дальнюю дорогу. Понял? —

Слуга поклонился.

... что бы бояре ни приговаривали, как бы они ни потели под охабнями и собольими шубами — поляки сидели в Москве, в Кремле, сидели в Киеве, в Костроме, сидели во многих городах русских и украинских. Грабили, резали скотину, требовали себе вина, да не простого, а боярского, фряжского. Брагу хлестали как воду.

А зима в том году была нешуточная.

Москва-река вздыбилась, Днепр напер на берега, снегу навалило страсть.

В Киеве была ставка гетмана Хоткевича, но Хоткевич собирался идти на Москву, где был пан Струсь.

Свободны от поляков были еще земли низовские, да Поволжье. Там поляков знать не хотели, хотя добредали туда посланцы Гонсевского с прелестными грамотами.

В Свяжске такой посланец попал в недоброе дело.

Какой-то парень — косая сажень в плечах — задрался с ним на торжище, хватил его за шиворот одной рукой, а за пояс другой и потрянул.

У того, как из корыта посыпались подметные листы.

— Вона! — заорал парень: — какова ты птаха, ну держись таперя! И начал его месить. Тот уже трижды кровью умылся, а парень его тузит.

— Стой Андрюха! — схватил парня ратник в бахтерцах и ерихонке:

— Надо спытать эту птаху откелева летит, с какого гнездовища, да кто эту птаху послал, кто ее из клетки выпустил! —

Толпа, смотревшая на расправу с подметчиком радостно загоготала.

Снег покрылся красными пятнами — вот уж разукрасил Андрюха.

В толпе поддержали ратника.

Ратник повел избитого польского наймита в избу губного старосты, а там сидел человек, с виду не старый, с кривой казачьей саблей на поясе, шолом его лежал на лавке.

— Ну, кажи, молодец, кто послал тебя, откуль идешь, один ты есть, али еще дружки у тебя поблизости? Упреждаю тебя, коли молчать будешь — не прогневишь, огоньку велю подло-

жить. Тогда уж заговоришь. Поглядим, может висеть тебе вон на той осине.

Андрюха собирал подметные листы и сносил их в избу.

— Вот поймал птичку невеличку, ан коготок востер. Ишь, молчит! —

— Ты, видно, хорошо его приветил, не опомнится. Да у нашего Валуй заговорит! —

Сидор Валуй собирался из Свяжска в Киев, да дело тут вышло важное: грамоты — листы подметные он переглядел. Все они обещали молочные реки с кисельными берегами, да золотые корабленники тем, кто будет за королевича Владимира.

... Бродячие отряды-налеты сунулись было в Зарайск, а там сидел Зарайский воевода Дмитрий Михайлович Пожарский с дружиной своих крестьян да ближних, и налет, потеряв с полсотни головорезов, отошел на запад.

А в Муромских лесах их поджидал атаман Бориска со своими ребятами.

Там был и Никитин Пармен, и Серега Камков с побратимом своим Васей: всех благословил Обдорский игумен на святое дело, ворогов-шляхту из православной Руси выбивать, дымом выкуривать, как тараканов из избяного тепла.

А Муромские леса издревле непроходимые. Всякая там нечисть водилась. Бывало девки с ребяташками за грибами да ягодами пойдут, так пройдут так, чтобы видна была опушка. Не дай Бог — заплутаются.

И то говорили девки да ребята, что там страсти деются, кто-то хохочет, свистит, гукает звериным голосом.

Непроходимы Муромские леса для православных, ан атаман Борис со своими ребятами там, как в доме родном, али в вотчине какой.

На небольшой полянке горит костерок, два парня его стерегут, чтобы Боже спаси не пошло пламя в лес, не хватило бы полымем великие Муромские леса. Парни стерегут зорко, а подле землянки, которая вырыта возле двух могучих елей, сидит молодой не то ратник, не то кто его знает, — одет не в пример прочим нарядно: соболья шапка, из-под шапки кудрявые волосы падают на ворот кафтана, на поясе добрый меч венецыйский, рубаха синего шелка, сапожки сафьяновые. Лицо открытое, доброе. А сдвинет брови — словно туча найдет.

Тонкие усы, курчавая борода. Это и есть сам атаман Борис.

Сергея Камков, Никитин Пармен, да Вася Обдорский, да еще ребята сидят вокруг. Кто на пенке, кто на ели поваленой, а кто стоит, прислонясь к стволу высоченной разлапой ели. Снег неглубокий, погода не холодная, мороз не щиплет, а только румянит щеки медведцов.

Таков стан атамана Бориса. Туда нет ходу людям незнаемым, а ворогам и подавно.

— Привезли мне сказ-весточку — начал атаман, — что воевода Зарайский Дмитрий Михайлович, князь Пожарский, собирает дружину большую идти на ляхов. Послал я туда Андрюху Селезня, чтобы разведать, как и что. А Андрюха пропал, словно дух какой. Измены от него не мыслю, разве ляхам в полон угодил. Да Андрюха отобьется, недаром один на один с рогатиной: а медведя хаживал. Вон она шкура-то у меня в землянке. А медвежатину коптили ребята, да лакомились. Хорош был лесной хозяин косолапый, ладно его Андрюха на рогатину посадил... Теперь, братцы, у нас другое дело — надо спасать Русь матушку. Мы же православные, русские, клюет враг, как коршун, нашу родину. —

Атаман примолк.

— А кто вождем станет? Где царь?

— Нет царя боле. — сказал Сергей Камков.

— Он в Обдорской обители постриг принял. Он уже не царь, а инок Досифей.

— А кто на Москве правит? — спросил смуглый парень.

— Был царь Василий. А ноне в Кремле ляхи сидят сиднем, а с заката прет на Москву Ивашка Заруцкий, а жена его ныне Марина Юрьевна, а у нее дитя малое. А чье дитя — разве разберешь теперь. Поляки говорят, что это будет царь русский... А сами Владислава на престол хотят посадить. Да не Владислава, а самого Жигимонта. Да вот слышно в Нижнем Новгороде ополченье будут собирать.

— Вот бы туда! — вздохнул Вася обдорский послушник.

— А и не право твое слово — ответил атаман, — нам отсюда надо теснить врага, пока ополченье соберут. А тут гляди и к нам враг пожалует. Должен к нам прибыть Сидор Валуи. Сказ от донского казачества принести. Как там донское казачество, куда клонит.

... Между тем, Сидор Валуй и Андрюха Селезень, раздевшись с польским соглядатаем, решили двинуть на Муром, повидать вольницу атамана Бориса.

Неладное дело творилось на Руси.

Возле городской заставы Сидора и Андрюху перехватил отряд поляков. Их было человек тридцать. Какой-то сумрачный поляк, перегибаясь с седла, плохим русским языком, спросил:

— До конд? Куда идешь? За для чего? Складай саблю, давай злоты! Злоты давай! Маешь злоты? —

Сидор мигнул Андрюхе. Андрюху видно задерживать не собирались. Чего взять с увалистого деревенского парня. Сидор Валуй отдал саблю, его повели в город обратно.

А Андрюха решил его вызволять, чуть ночь прикроет город.

Сидора посадили в чулан возле просторной избы, куда ввалилось человек пять поляков.

Один — хорунжий, предводитель отряда, велел достать еду и брагу. Солдаты пошли шарить по избам.

Ночь прикрыла город. Стихло все. Кое где побреживали собаки. Поляки шумели долго, наконец, утомонились. Караульные выпив изрядно браги, подремывали у входа.

Андрей Селезень, долго не раздумывал, сгреб одного караульного так, что у того захрустели косточки, забрал у него саблю. Второго караульного просто оглушил по башке. Потом пошарил, нашел припертый чулан и выпустил Сидора.

— Теперь надо напрямик в Муромские леса, там нас поджидают, не дождутся. Спасибо тебе, Андрюха, что вызволил меня! —

— А то как же не вызволить! —

... Марина с Заруцким отсиживалась в Калуге.

Калужане слыхивали ночами шум, крики, звон бубна в палатах бывшего калужского воеводы, который давно уж принял мученическую смерть. Парни Заруцкого закопали его без христианского погребенья неподалеко от леса.

— Маринка-ведьма гуляет с Ивашкой Заруцким! — говорили степенные калужане, но перечить не смели, только чесали затылки, да развязывали кошель и скоро в кошелях ничего не стало, как не стало в каморах и подполах.

А хлебушко — уж Бог знает какой!

Заруцкой все похвалялся, что он-де посадит на престол сына Марины, а сам управит Москвой, вс как!

Марина попрежнему гордо несла голову и втайне не совсем верила Заруцкому. Но посланец из Польши, какой-то чудной, не то монах, не то просто прощелыга, принес ей наказ держаться попрежнему Ивашки Заруцкого, а оный Заруцкий пусть попрежнему бьется с русскими людьми.

Сына своего она не любила, хотя считала его законным царем московским. Про Дмитрия она знала только, что он убит и прах его развеян из единорога во все четыре стороны света. Истинного нахождения Дмитрия и тайны Обдорской обители она не знала. Заруцкой был ее мужем и гордая полячка, хоть и называла его так, но втайне мнила себя вновь на троне царей московских.

Мечты ее будто не сбывались. До нее дошел слух, что отец ее, Самборский воевода пан Ежий Мнишек, объевшись жареным поросенком и опившись вином — дал карачун. А может кто-то помог ему дать карачун.

Да слыхивала гордая полячка, что Русь встает на жадных гостей и вот-то к ним придут — тогда рассчитывайся за все. Но она верила в мощь Жечи Посполитой.

Зимой заваливало необозримые пространства Руси снегами, реки останавливались и легче было переходить там, где теплом тащили челны вслоком. Польское войско на зиму как бы притихло. Очень уж мороз допекал. Но военачальники требовали продвижения.

Подымалась Русь на недруга. Оболокались в тулупы, на ноги надевали теплые онучи, да ладные поршни, брали в руки кто во что горазд — кто рогатину, кто просто палицу с привязанной к концу косой, кто дедовскую саблю, с которой ходили еще на татарву под Казань.

Зимой зори алели на снегах еще угрюмее еще холоднее. Ночью обозначались рассыпанные по синему небу звезды.

А по избам бабы, девки, да ребятишки оставались поджидать недруга. Идти было некуда.

Польские налеты баб да детей не трогали. Их надо было только накормить да насытить.

Пронск был уже в руках поляков. Там сидел Флориан Згурский, которому пожалован был полковничий чин.

Флориан был добрый человек и выслушивал жалобы населения охотно, а своих бывало наказывал за побои и жестокости.

В дремучих лесах много пряталось простых людишек. Они-то и наносили польскому воинству урон.

А Русь, ослабевшая от голода и недорода, сдавалась победителю. Вот в такой зимний морозный день по дорогам, а где и просто по лесным опушкам пробирался отряд неведомых всадников. Как рассказывал потом один невзрачный мужиченко, к которому обратился один из всадников на ломаном русском языке: где тута воеводский замок? — Все они непохожи были на поляков, морды у всех скобленые, волосы как у девок — по плечам. Ан убраны, обуты ладно. Ох, как ладно.

Думали, гадали кто это мог быть и порешили: все одно ворог, немчин, лютый враг. Друг не пойдет так, хоронясь по лесом.

А тем временем Андрюха Селезень с Сидором Валуем окольными путями пробрались в Муромский лес.

— Ладно, что пришли в свой час — встретил их атаман Борис.

— Мы уж собирались в далекий путь на низовские земли. Там ополчение собирается, да не знаем еще, кто станет тем ополчением править. Окроме как князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому будто и некому. — Закончил атаман Борис и добавил:

— Из Киева ждем еще весточку — сказ. Наши людишки там по Днепру гуляют, рыбачат в прорубях. Панам десять рыб хороших, а себе пару пескариков ребятам на ушицу. Да не с чем ту ушицу хлебать. Хлебушка нету. —

Атаман задумался. Задумались и ребята его. Тихо в лесу. Да что-то уже весной стало тянуть, валится снег с елей разлапых. С полудня тянет видно.

... Тянет с полудня бродячий вихорек, туманит головы казацьи, туманит головы воинов польских.

Гудят дороги, клонятся придорожные кусты, уже с почками молодыми.

Шепчутся капли под застрехами натекающие, капают в лужицы и нет дела ни им, ни вихорьку южному, полуденному, что тут резанина, что тут на земле ладу нет, не было и не будет.

В синюю бездну ночи летят звезды, катятся в вечное пространство, а здесь собираются, оружием бряцают и те, и те. И русское воинство, и польские легионы.

Прослышали весть про ополчение Прокония Ляпунова, прослышали еще про низовские дела. Там, слышать, тоже кто-то

поговаривает об ополчении.

Да и сам князь Дмитрий Михайлович, томясь от болезни думает о том, что надо крепко взять в руки шестопер воеводский, да руки ослабли после огневицы, но крепнет рука и яснее в голове давно не стриженной.

На порубежьях все то же.

Слабые отряды, без воевод не могли сдержать, а те, крылатые, все шли и шли с запада на северо-восток.

И слышно стало в дальних селениях, что в московском Кремле сидят поляки, сидит пан Струсь, а из Киева прет гетман Жолкевский.

Горели села, пылали.

А крылатые легионы все забирали себе. Легионам нужна была жирная снесь, нужно было для лошадей обозных, нужно для коней строевых.

Пеший поляк плохо бьется. Ему подавай коня, да не какого-нибудь, а такого, чтобы как огонь и в галопе искры высекал копытами.

... В киевском предместье жила Настенька Бузенкова с матерью. Отец давно загинул в боях. А жених ее названный, Сидор Валуй, казацкая сорви-голова, не то бьется где-то со шляхтой, не то позабыл про чернюбровую Настусю. А тут поляки, проходя иногда мимо хатки Бузенковой, расправляли усы и козырем поглядывали на Настусю. А однажды какой-то хорунжий прямо сказал ей:

— Красавица, чего ждешь? Суженый твой тут, на моем коне! —

Настуся молча повернулась и ушла в хатку. Так нет же, увязался проклятый, сошел с коня, привязал его к тыну и шашь в хату.

Чего случилось бы — кто его знает. Да ненароком ехал полковник и увидел коня из своего regimenta:

— Эй! Кто там в хате? Вылезай! —

И начал чистить хорунжего как малого хлопчика, за то, что теперь, мол, боевая страда, войско на Москву собирается, а он с грязной холопкой тут якшается.

— Гвалт, проше пана! —

Пришлось хорунжему в седло и за полковником. А Настусина мать в слезы.

А Настуся сама подумала, где Сидорка вештается.

I.

В тесных покойчиках Чудова монастыря сидел опальный митрополит Филарет. Он хорошо запомнил этакое же де-янье, чиненное над ним царем Василием.

А вот теперь и Василия уже нет, куда его девали поляки — неведомо. А сами поляки совсем равнодушно выслушивали жалобы иерарха. Ведь пострижен-то Филарет был насильно. И только царь Дмитрий Исаннович призвал его в свои палаты и велел первосвятительствовать на Москве.

А жена его, ныне инокиня Марфа с ним. И только радости, что Мишаня сынок.

А род Романовых был довольно темен.

Какие-то бояре Кошкины-Кобылины, были мелкопоместными и при дворе царя Бориса пали на землю перед царским троном:

— Дозволь, государь, именоваться не столь поганым прозвищем . . .

А один из них, старшой, да храбрый, был спущен в яму в Сибири, в Ныробе. А Филарет — великого ума был муж, — сумел избегнуть позора. И велели тогда им зваться по деду — Романовыми.

Куда как ребок был Мишаня. Ему бы только молиться, али сидеть у окна и чурочки строгать. Даже с ребятней побегать не тянуло. И матушка Марфа боялась. А вдруг содеется что лихое, как тогда, в Угличе.

Но ничего не содеялось. Только оплот тишины был Чудов монастырь. А у Троице-Сергия вон что делается.

Но Лавра держится противу поляков.

. . . однажды о. митрополит приехал зело смутный.

— Матушка, бери Михаила и двух прислужников и немедля отправляйся с ними к св. Ипатию в монастырь, я уже с о. игуменом говорил, просил принять вас под свой покров. Нехорошие дела деются. Мнится в Чудов монастырь придут ляхи и тогда беды не миновать.

Не взирая на вечерний час, матушка Марфа и Михаил споро собрались и отъехали от Чудова монастыря.

Путь еще был свободен. Мороз был легок и приятен, но снегу нанесло изрядно. Михаил всхлипывал, горовал.

— Чего распустил-то слюнки?

— Нету нам матушка спокойствия, точно какие разбойные люди мы, али тати. все должны где-то хорониться.

На полдороги сани окружили неведомые люди — верхонные.

— Не пугайтесь, ни ты честная матушка, ни ты боярич!

— Кто вы такие?

— Мы люди ратные, за Русь матушку стоим! Мое имя Исидор, а прозвище Валуй. Прослышали мы, что путь будете держать ко Ипатию, дак чтоб не обидели вас, как ехать будете!

*

... Польский король сидел прочно в Смоленске.

Он собирался в скорости явиться в Москву, но мешали ополчения и отдельные люди с предводителями. Они бы уже захватили Сигизмунда — или как его звали тогда Жигимонта — и не вырваться бы польскому королю. Качался он бы где-нибудь на сосне или осине, а то томился бы в позорном полону.

Сигизмунд был самонадеян и тщеславен.

Французская помощь существовала только в туманных посулах Д'Обинье. Сей шевалье целовал ручки прелестных пань и паненок, пил вино, ел за четверых, но обещал и только обещал.

4 февраля 1610 года по нашему исчислению в Смоленск прибыла группа бояр во главе с Салтыковым.

Писали договор.

А за стеной польские паны уже пировали, точно все было кончено.

Салтыков говорил, что королевичу Владиславу надо выбрать себе невесту из старинного боярского рода, принять православие и тогда будет единение двух держав.

Но Сигизмунд договора не подписал.

Также не была подписана договорная запись 17 августа.

Время катилось, надвигались худшие времена.

*

В низовских землях, в самом Нижнем Новгороде Козьма Минич Захарьев-Сухорук уже говорил на базарной площади:

— Нижегородцы, лютый барс Жигимонт хочет своего королевича нам поставить, а что? Разве у нас нет достойного из

боярских родов? Нижегородцы! Отдадим нателные кресты, заложим жен и детей, а не дадим погибнуть русской земле под лапами хищного барса Жигимонта! Нижегородцы! Князь Дмитрий Михайлович Пожарский собирает ополчение! Возьмем мечи дедовские, а у кого их нет — топоры и пойдем к князю Пожарскому. Он поведет нас, нижегородцы, на супостатов. Перевелись рази добрые молодцы ратные?..

... Сигизмунд до этих пор не приказывал королевичу Владиславу прибыть в Московское царство.

Владислава еще не видали, но ему присягали.

А в Москве сидел пан полковник Струсь и ожидал гетмана Хоткевича с новыми regimentами.

Пан полковник Струсь был великий обжора. Съедал целого жаренго гуся, а вслед за гусем шло жареное мясо, жареное по-французски, с вином и грибами. Выпивал пан Струсь вина неисчислимое количество кубков и после такой трапезы поговаривал уже об ужине. К ужину ему готовили колбасы польские с чесноком и варенуху, котсрой он запивал снесь.

Но продовольствие в Москве таяло.

Ничего не выходило у бояр, которые хотели как-нибудь дсбром заставить Сигизмунда увести свои войска.

Тяжко, тяжело было на Руси в эти годы.

Особенно в тот год, когда заговорили о приходе самого Сигизмунда в Москву.

Пан Струсь ожидал гетмана Желкевского, а приехал на санях сам король.

Пан Струсь перепугался на смерть.

Надо было кормить короля и его свиту, а в кладовых было пустовато. Откуда взять все?

Король отдохнул после пути и позвал пана Струсю к себе.

— Сделаешь сегодня бал, да такой, чтобы почесались. Со мной приехал французский посол Д'Обинье и голландский Ван-дер-Стратен. И еще какой-то там англицец. Кто его знает чего он тут захотел? Не то посол, не то соглядатай какой!

Полковник Струсь почувствовал себя нехорошо, но отвесил кролю глубокий поклон, как положено, и ушел.

Король остался один.

Вот в этих покоях живали московские цари, в них недолго был его ставленник Дмитрий. Ничего не вышло с той затеей. Самое удивительное, что французы все уже знают. Д'Обинье, этот блестящий, залитый золотом и брильянтами кавалер как-то сказал Сигизмунду:

— Первую игру, ваше величество, вы проиграли. Теперь перед вами поле для второй игры. А там и для третьей. Если вы, ваше величество, проиграете все три — клянусь святым Бернардом — Франция не даст вам ни проща. Вы должны женить вашего сына на русской княжне, тогда будет разговор.

Советую вам, ваше величество, проследить, что делается в русской земле. Я знаю, что где-то собрано ополчение и такое ополчение, что вашим гусарам не сдобровать. Я за себя не боюсь. Франция меня защитит. А кто вас защитит, ваше величество?

... Бал все же состоялся. Было много очаровательных пань, которые ехали вместе с мужьями искать фортуны в краю белых медведей. Было несколько русских. Их возглавлял боярин Салтыков.

Среди свиты боярина был какой-то странный человек. Все время молчал, а потом вдруг заговорил с каким-то поляком по-польски, а с французом по-французски.

Поданы были роскошные блюда на золотой посуде царей московских. Подали рыбу, а потом жареную оленину. Все это запивалось добрым вином.

Король был в плохом настроении.

Ему казалось, что все что-то недоговаривают и он ждал минуту, когда ему доложит гетман Жолкевский.

Наконец, гетман, провозгласив здоровье наияснейшего короля Польши и России, спросил тишком:

— Ваше величество, могу я сейчас огласить одно важное известие?

— Только мне, только мне. Выпьем сейчас еще, тогда пойдем и ты мне доложишь...

Король поправил свои крахмальные воротники, которые держали его голову точно на блюде, поправил свою острую бородку и закрутил усы:

— Панове! Мы идем от победы к победе. Да живет славная Жечь Посполита, да живет славное войско польское! Виват!

— Виват! Виват! Виват! — закричали гости. Однако, кавалер Д'Обинье наклонился к Ван-дер-Стратену и зашептал:

— Победы, победы! Король изволит шутить. Я имею ведомости, что тут собираются войска этих грязных холопов, но с ними шутки плохи, попадите к ним в лапы, они вам уши отрежут, а потом посадят на кол. Это такой русский вид казни!

Ван-дер-Стратен оживился. В терем входили новые иноземцы. Их было человек пятнадцать. Впереди выступал их начальник, видимо. Под шубой был кафтан, опоясанный поясом с саблей, а из под кафтана виделись огромные сапоги со шпорами. Длинные волосы падали на плечи, блестя уже довольно частой сединой.

— Вашему величеству покорные слуги. Я сам рыцарь Готфрид из Пфальца, свободный барон и властитель четырех замков. А это — мои дворяне.

— Рад вас приветствовать! — Сигизмунд привстал и жестом пригласил барона Пфальцкого и его дворян занять места. Кавалер Д'Обинье потихоньку, прикрывая уста кубком, зашептал Ван-дер-Стратену:

— Что то еще за незваные гости? Неужели король польский прибегает еще к союзу со швабами? Этот рыцарь что-то мне знаком. Я его видел где-то . . .

Пирушка шла своей чередой. Уже швабы сбросили шубы и стали расправляться с жареными гусями и запивать их полными глотками вина, не спрашивая о качестве.

Пан Струсь, полковник, был в ужасе, видя, как исчезало его продовольствие в желудках гостей.

Швабский барон держал себя довольно независимо. Свечи, воткнутые в стенные кольца, позволяли рассмотреть при их мерцании лица прибывших.

Польские прислужники внесли сальные свечи в канделябрах. Стало будто веселее. Гетман Жолкевский, тучный, с заметной сединой в усах, сидел возле короля и что-то нашептывал ему.

Поляки не знали, чему приписать приезд швабского барона.

А он снова возгласил:

— Я барон Готфрид Эберфельд фон Пфальц, приехал в сии края по желанию его величества короля польского и привез с собой regiment моих добрых солдат, вооруженных мушкетами с огненным боем.

Ван-дер-Стратен и Д'Обинье переглянулись значительно.

— Приведи пленного, — сказал король стоявшему на вытяжку пахолку.

За Московским теремом разыгрывалась буря. Сильно задувало в окна, защищенные только тонкой слюдой.

Буря озоровала с каждой минутой все сильнее и сильнее. Швабский барон сказал своему оруженосцу:

— В этой дикой стране и погода дикая, слава Богу, что мы прибыли до бури. А то и дороги не нашли бы, а тот крестьянин еще завел бы куда.

В теремной покой ввели пленного.

Это был еще не старый, крепко сложенный человек. Кафтан на нем был изорван, сапоги сбиты, а руки связаны сырым ремнем.

— Ну, говоришь или не говоришь? — спросил король и обратясь к боярину Салтыкову велел переводить. Салтыков смотрел на пленного и втайне жалел его.

— Где теперь собирают войско против нашего?

— Где? Везде . . . — угрюмо проговорил пленный.

— А само? — спросил король.

— А само — по всей Руси.

— Дам тебе плетей с сотню, тогда скажешь, где само.

— Думаешь, царь польский, так тебе и дадут здесь царевать? Тут тебе не Ивашка Заруцкой, который пограбил Ксенинский монастырь. Тут косы на тебя, да на твоих вояк точат, а как наточат, придет наш атаман и скажет: бей их, сарынь проклятую, бей не жалей!

Барон фон Эберфельд наклонился к гетману Жолкевскому:

— А почему не попробуете его подкупить? Русские деньги золотую любят. —

— Подкупить? Господин барон не знает, что это за люди! Деньги-золото он взять возьмет, а потом все равно по-своему сделает. Их не пронять ничем.

— Дать ему вина! — вдруг сказал король.

— Выпей за наше королевское здоровье. Развязать его руки и пусть идет куда хочет.

Боярин Салтыков видел, что король играет в великодушие. Он упоен успехом и ему ничего не надо тайного. Он считает Москву уже у ног своих, Москва, ему казалось, побеждена. Теперь только посадить Владислава или самому сесть на трон царей московских.

В Москве было ненастное утро. Задувало злобной пургой, мело с утлых соломенных кровель, а в Кремле заносило храмы.

Король Сигизмунд сидел в покоях московских царей. Перед ним стоял, опершись на саблю, сам гетман Жолкевский.

Гетман уже давно уговаривал короля уехать из Москвы.

— Будет тут недобро. Ваше величество, вам быть тут опасно.

Король раздумывал. Он хотел, чтобы московские люди признали все, как один, польскую власть.

Король встал и, накинув меховой плащ, вышел на крыльцо. Неглинная и Иверский мост охвачены были вьюгой.

Вьюга свистела, вьюга выла, вьюга выдувала непрошенных гостей из своего сердца. Возле кремлевских стен, на виселицах, сидели тучи воронья, расклеывая повешенных поляками.

Синие купола Василия Блаженного застилали белые покрывала вьюги.

А за Москвой, по дороге к Троице-Сергиевской Лавре, взад и вперед разъезжали отряды польской гусарии.

Гетман Жолкевский снова подошел к королю.

— Ваше величество, имею донесение. Крайне важное.

— Говори, пан гетман!

— Один переметчик доносит мне, что эти неугомонные хлопы уже выбрали себе царя. И сей царь сидит в монастыре и ожидает.

— Кто сей царь?

— Молодой сын митрополита, а митрополит этот был главным при особе царя Димитрия. Жена Димитрия сейчас в Калуге.

Сигизмунд топнул ошпоренной ногой:

— Кто царь? Имя, имя его?

— Ему только пятнадцать лет и звание его Михаил из рода Романовых!

— Гетман! Отбери лучших гусар, пусть идут, идут в этот монастырь и убьют этого щенка. Понял?

— Дорог нет сейчас, ваше величество.

— Пусть найдут хлопа, который поведет их. Любого хлопа можно купить за золотую монету.

Гетман склонился в поклоне.

Вьюга усиливалась. Она выла тысячами волчьих глоток. А там, за Москвой, в необозримых полях крутились снежные столбы, ярилась непогода. В маленьких церковках под ветром раскачивались колокола и колокольный звон, мешаясь с тысячеголосой метелью, еще более зловеще, окликаясь эхом, разгуливала непогода. О том, чтобы ехать в такую погоду, да еще королю, не могло быть и речи.

Польский король сидел в покоях и раздумывал.

А на Руси жить простому люду, да и боярам, стало уже невмоготу.

Лавки позакрывали, товары поприпрятали. Обезживотел народ, что и говорить.

Несмотря на морозную зиму, появилась моровая язва, от голоду что ли.

Каждый день выносили на погосты мерзлых мертвяков.

Только в Брянском лесу, у атамана Бориса было и тепло, и сытно.

Людишки атамановы отбивали польские обозы, охотились. А охотой в Брянских лесах можно прожить сытно и славно.

Уже Сидор Валуй и Андрюха проводили игуменью Марфу с сынком в Ипатьевский монастырь.

Теперь у них осталось дела: либо примкнуть к нижегородскому ополчению, либо самим допекать врага лютого.

Ивашка Заруцкий сидел в Калуге, вместе с Мариной. У Марины родился сын.

Нарекли его Иоанном. Чей он был — неведомо. Либо Дмитрия, либо Ивашки Заруцкого.

Борисовы ребята-разбойнички добирались до Заруцкого.

Сидор Валуй говаривал атаману, что Заруцкой только все им дело пачкает. Надо Заруцкого, и заодно и Марину прикончить. А младенец? Что он? Его отвезти в Обдорск, пусть бы жил и стал сначала послушником, а потом иноком.

Но пока атаман Борис ничего не предпринимал.

Его ходоки приносили ему отовсюду вести.

К весне ждали нижегородское ополчение.

Троице-Сергиева Лавра была обложена со всех сторон.

Однако же борисовы людишки проникали туда и шли прямо к о. келарю Авраамию Палицыну.

Он отписывал грамоту атаману о делах и о том, что Троице-Сергиевский монастырь будет стоять, пока Господу Богу угодно.

А Сидор Валуй снова, по снегам, отряжен был на север.

До Обдорска он побывал на Выг-озере, в келийках старцев выгодских. А оттуда дале, к Уралу, к Великому каменному Поясу.

Побывал Валуй и в Ныробе, где боярин Романов кончил свою жизнь в яме.

Малый монастырек попался ему по дороге на Пелу.

Поговорил Валуй с о. игуменом и тот благословил тридцать человек бельцов и послушников идти с Сидором на великое дело — бить врага. Выбивать ляхов и Жигимонта-барса из Москвы. Так Сидор Валуй делал свое дело. Бельцы и послушники приоделись потеплее и двинулись с Сидором по Сибирским таежным местам.

Речки там не мерзнут, потому как течение быстрое. Медведи да волки. А страшны они, что ли?

Ничего не страшится русский человек, когда идет воевать за правое дело.

Юрий Трубецкой .



А. Аристова

MEMENTO MORI!

Старушка Валентина Воробьева лежала в открытом гробу. Ее подпудренное лицо и легкое голубое платье никак не вязались с понятием о смерти.

Сквозь зелень букетов пробивался желтый свет ламп. Аничка Федорова, единственная дочь покойницы, тихо всхлипывала. У входа в зал стоял хозяин похоронного бюро и, несколько приторно улыбаясь, просил входящих расписаться в толстой книге.

Зал стал наполняться людьми. Каждый по очереди подходил к Аничке, стараясь выразить свое сочувствие.

«Мое ты золотко!» Лепетала Маруся, быстро мигая бесцветными ресницами над бесцветными глазками. «Не плачь, золотко!» Маруся от наплыва чувств всегда всех называла «золотко».

«Не плачьте. Горе неутешное. Мы знаем». Говорила другая сочувствующая.

Но все эти утешения и ласки вызывали еще больший поток слез.

«Мама умерла!» Думала Аничка и при слове «умерла» дрожь пробегала по телу. Неужели никогда больше мама не услышит голоса внуков, не увидит как Сережка смело катается на новом трехколесном велосипеде? Неужели никогда больше не услышать бабушкины рассказы? В особенности тот бесконечный и, казалось, наиболее повторяемый, о том, как они бежали от немцев? Как часто бабушкины рассказы казались скучными с их вечными повторениями и мельчайшими подробностями... и чего бы она не дала сейчас для того, чтобы вновь услышать голос дорогой матери, как она в сотый раз рассказывает историю, о том как они ночью...

Кто-то положил теплую руку на ее плечо. Ей было все равно чья это рука, она только чувствовала тепло этой руки — живое тепло. Сквозь туман слез, между темными силуэтами каких-то людей, она видела голубую старушку со сложенными руками. Старушка спала, но руки ее были холодные... Вот опять кто-то закрыл руки покойницы, чье-то большое тело заслонило мать от Анички. Кто-то что-то говорил. «Это кто?», на секунду мелькнуло в ее голове, но только на секунду, т. к., в общем-то ей было все равно, говорил ли один человек или сразу несколько и что именно они говорили. Все это было неважно, самое главное были вот эти восковые холодные руки... Вот опять кто-то стал перед ними... Вон там коричневое пятнышко на правой руке у сгиба большого пальца с кривым ногтем...

«Возьмите себя в руки. Не надо плакать», услышала она над собой резкий и повелительный голос. «Знаем мы это горе».

К Аничке подседа, вся в черном, Марфа Емельяновна — сочетание квочки с коршуном. Фигурой она походила на квочку, характером — на коршуна.

«Вы говорите — несчастная старушка», застрекотала она, как цикада. «А я говорю счастливая. Счастливая потому, что ее собственная дочь хоронит. А когда я умру, кто меня

будет хоронить? Ну кто?» — Обратилась она к окружающим и ее черные глаза вспыхнули.

«Моя дочь из Австралии не придет меня хоронить!» Добавила она и тут же расплакалась. Крупные слезы быстро потекли по морщинистым щекам, падая на полный, обтянутый черным платьем бюст.

«Да бросьте вы, золотко», вмешалась Маруся и прибавила не менее повелительным тоном: «Идите на цветы подписываться».

Из черной сумочки Марфы Емельяновны вынырнул белый платок, пробежал по черным глазам и опять исчез в черноте. Марфа Емельяновна ушла.

А Маруся важно уселась на почетное место рядом с Аничкой и, оперев руки на широко расставленные колени, встречала всех, подходящих к Аничке:

«Ах, какое горе!» И, покачав головой, добавляла: «Идите на цветы подписываться».

Сквозь шорох шагов, шелест одежды и шопот встречающихся ясно и отчетливо доносилось это «Идите на цветы подписываться» и отдавалось во всех углах зала.

Наконец, в облаке черной рясы влетел отец Аврелий. Торжественно размахивая руками он служил целых 35 минут, хотя обычно справлялся с панихидой минут за 10. Он вошел в азарт и решил закрепить обряд поучительным *memento mori*.

«Никогда не забывайте о смерти», кричал он, крепко сжимая крест. «Всегда помните, что и с нами это может случиться — и случится! Не думайте, что так, как вы сейчас живете, вы всегда будете жить. Нет! Наша сестра Валентина тоже не думала, что так скоро уйдет от нас, а вот ушла! Навсегда ушла! Нужно уже сейчас готовиться к смерти. Никогда человек не знает, что будет с ним завтра . . . »

Это *memento mori* тянулось еще минут 20, в течение которых было сказано вышеописанное еще несколько раз без особых вариаций.

Отец Аврелий кончил. Люди вздохнули и хлынули к кресту, а потом и к выходу. Образовалась толкучка. Но среди этого людского водоворота, как маяк, стояла Маруся. Розовая шляпка ее съехала на затылок. Светлые волосы торчали во все стороны. Она размахивала подписным листом и несколько охрипшим голосом кричала: «Идите подписываться на цветы-ы!»

На улице люди жадно глотали морозный воздух. Снег радужно искрился в свете разноцветных лампочек на домах. Через три дня Новый Год и торжественная встреча его в русской колони.

Люди подходили к автомобилям.

«Жалко бабушку, да что поделаешь?» отозвался Петрович подходя к своему новенькому автомобильчику.

«Так нехорошо получилось. Как раз под Новый Год. Ведь молодые собирались на встречу, а бабушка с детишками должна была остаться». Последовал ответ из темноты.

«Да, не вовремя бабушка умерла. Федоров должен был билеты продавать, а теперь мне вручили». Заметил еще кто-то.

«Эй, Мишка! Будешь на встрече?»

«Не хочется что-то».

«Приходи. В буфете поможешь».

«А ты, Ваня, будешь на встрече?»

«Конечно, буду».

«Ну тогда и я приду. Так увидимся».

«До встречи».

Вот тебе и *memento mori*.

А. Аристова .

— * —

Юбилейный Комитет пров. Онтарио

UNITED RUSSIAN-CANADIAN CENTENNIAL COMMITTEE
of Ontario

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Провинции Онтарио

— * —

Honorary Chairman:

Prof. L. P. Smirnow. Ph. D.

Centennial Executive Committee:

Mr. M. P. Naumov. President

Mrs. M. M. Sosula, Secretary

Head Office:

17 Fuller Avenue

TORONTO 3, Ontario

Canada

Tel.: LE 3-0661

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

— * —

Алый закат за домами города.

Поезд свистнул, тронулся, завел свое равномерное постукивание. Полустанок. По перрону, помахивая фонариками, ежась от ночной сырости, проходят железнодорожные служащие.

Кто-то пробегает. Проезжает тележка с напитками. Продавец, быстро откупоривая, подает маленькие бутылочки в окно уже отходящего поезда. За окном черная ночь, на небе яркие звезды.

Долго тянется время. Раннее утро. Изменилась погода, накрапывает мелкий дождь, нависли облака. Шум колес уже кажется неотъемлемым, в то же время от него хочется избавиться. Поезд ползет среди серых давящих скал, сковывающих душу. И вдруг — чудо! Облака исчезли, рассвет. Поезд выскользнул на равнину в утренней дымке, чуть освещенной солнечными лучами, — сливающейся на горизонте с бесконечным морем и небом.

И от этого контраста душа точно вырвалась из давящего кошмара на простор! Хочется глубоко вздохнуть, радоваться, жить!

Внезапно выросли ослепительно белые одинокие домики ферм, крытые грифельными пластинками и все с двумя трубами. Кругом густая трава, кое-где низкий кустарник. Пасутся коровы, черно-белые, рыжие.

После бессонной ночи, на конечной станции большая чашка крепкого кофе особенно приятна и сразу отгоняет усталость.

В кафе за тем же столиком напротив — аккуратная старушка в черной накидке, на седых волосах черная наколка. Подавальщицы в черных платьях и белых фартуках быстро обслуживают клиентов, уверенные в том, что здесь всем хорошо.

Автобус уносит куда-то вглубь, все дальше от больших городов, вокзалов, суеты. Мелькают поля, перелески. Пьянит ароматный воздух, неудержимо клонит ко сну.

Вот радостный, сплошь белый городок. Яркие палисадники под окнами. Хочется поскорее добраться до хваленного пансиона с громким названием «Чудесные дюны». На углу за небольшим лотком сидит кружевница с ручными изделиями. Одета в черное: бархатная кацавейка, сборчатая юбка, на голове белоснежная накрахмаленная каланча, от которой на плечо спадает белое кружево. Указывая дорогу, она с готовностью предлагает «тележку», чтобы довезти чемодан.

Вот и пансион — небольшой двухэтажный дом в старинном стиле. Деревянные стены и потолки, кирпичные чистые полы, покрытые домотканными коврами. резная тяжелая дубовая мебель.

Столовая. На окнах белые занавески. Неслышно скользят по комнате прислуживающие, улыбаются, приносят кофе. А за окном в двух шагах море... Это залив. Часть берега — дюны: почти белый, без единого камушка, мягкий песок, в котором утопает нога. И тут же мощные, темно-бурые скалы —точно нагромсждение окаменелых огромных зверей.

Море темно-синее, местами лиловое от подводных камней. Оно блестит и непрерывно переливается от легкой зыби. Чуть плещут волны, омывая камни. И вдруг в гневе набежит одинокая волна, завернется спиралью, зашумит, разольется белой пеной и блестящими брызг.

Нет края синему простору...

Единственным событием в этом забытом и Богом и людьми приморском местечке, было возвращение рыбаков после трудового дня, проведенного на океане. Еще до захода солнца их моторные баркасы очень деловито, раскидывая перед собой горы белой пены, поочередно врывались в бухту и, описав небольшой полукруг, ловко причаливали к набережной и становились на прикол.

Ожидавшие этого момента местные жители и дачники из палаток, немедленно обступали их и, громко торгуясь и бранясь друг с другом, старались достать для себя хороший кусок из улова. Нагружали сумки рыбой, огромными крабами, омарами и прочей морской снедью.

А над всей этой людской суетой вились крупные, белые чайки в поисках выброшенных в море остатков.

Продажа на баркасах происходила необычайно быстро.

Тут же в сутолоке коренастые загорелые рыбаки в синих рубашках с открытым широким воротом и белых майках, до чиста вымывали баркасы и перетаскивали ящики с главным уловом на площадь к огромным весам. Рядом в специальном помещении, называемом «крие», уже ожидали скупщики, сидя за длинными стойками. В середине один из них объявлял сорт и вес рыбы, и она доставалась тому, кто за нее давал больше. В это же время на небольшом рынке раскупалась рыба у мелких торговцев.

Рыбаки, сделав свое дело, отправлялись в два трактира, обставленные тяжелыми дубовыми столами, стульями и такой же стойкой.

Стены и потолок украшены предметами и изображениями, напоминающими их стихию: обычное рулевое колесо, модели галер и приблизительная рельефная карта берега и океана. Но главное, за стойкой множество бутылок всех цветов радуги и самых разнообразных фасонов.

Но не эта радуга на полках привлекала сюда деловых рыбаков, а простое, обыкновенное красное вино, которое они пили большими, пивными стаканами. С их приходом сразу все оживало, становилось шумно, душно и от дыма папирос и трубок трудно было разглядеть в двух шагах. Хозяин с хозяйкой сбивались с ног, быстро наполняя опорожненные стаканы и отдавая сдачу.

Когда стемнеет, на пристани уже никого нет. Близко прижавшись друг к другу едва заметно покачиваются баркасы. Заперты рулевые рубки. На мачтах растянуты черные сети, на них подвешен груз из разноцветных, литых, стеклянных шаров. И кажется, что построенные руками рыбаков мощные баркасы — точно живые. Они ярко выкрашены в зеленые, синие, красные цвета. На каждом с любовью выведено имя: «Наяда», «Мимоза», «Джоконда». Они участники нелегкой жизни. Целый год летом и зимой, когда море бушует, они уходят за уловом. Недаром сохранился обычай называемый «Гран пардон», когда женщины, одевшись в национальные костюмы, идут к морю, чтобы молить его пощадить их сыновей и мужей.

В городке встречаются старые рыбаки. Они уже не у дела, но на них все те же фуражки моряков, все те же костюмы. Они стоят у крыльца, посматривая на прохожих, или заходят в небольшие таверны, чтобы за стаканом вина вспомнить былое.

Было уже пять часов пополудни, но южное солнце еще сильно пекло. Дмитрий Петрович, недавно сюда приехавший, после долгой прогулки зашел в портовое кафе. Он сел за единственный свободный столик.

Молодежь шумела. Все громко разговаривали, стараясь перекричать механическую музыку. Он стал наблюдать за происходившим. К его столику подошел старый рыбак и, извинившись, грузно уселся напротив, заказав огромный стакан красного вина.

Что-то близкое было в его лице, но особенно поразила его татуировка. На загорелых руках и груди были изображены голые женщины, русалки, сердце, пронзенное стрелой с надписью: «либо ты, либо смерть», череп с двумя костями накрест, змея, рыбы и еще многое другое.

Рыбак, заметив его удивление, спросил — Приезжий? — Видимо старик знал всех местных жителей. Разговорились. Рыбаком он стал случайно, когда-то жил в Бианкуре. Присматриваясь к нему, Дмитрий Петрович понял, что перед ним был русский, давно занесенный в чужую страну.

— А родной язык не забыл? — внезапно спросил он.

Рыбак встрепенулся, заулыбался. — Неужто земляк, вот ведь как . . .

Они заказали еще по стакану, вино все больше развязывало язык, и рыбак заговорил о себе. Дмитрий Петрович слушал, как зачарованный. Чем больше рыбак углублялся в свой рассказ, тем больше обветренное, морщинистое лицо его напрягалось.

— Много чего перевидал . . . был в белой армии. Работал грузчиком, на шахтах, чего только не перепробовал.

— Здешние-то что? Как мальчишкой в школе побывает, потом сразу на барку, и так всю жисть. Окромя моря да вина ничего и не ведают.

— Живут-то неплохо, зарабатывают, домами обзаводятся. Вот и меня потянуло. Когда-то с отцом рыбачил. Море-то оно затягивает, с ним все забудешь . . .

Он приостановился, задумался, куда-то очень далеко ушел в свои мысли, а потом вновь очнулся, улыбнулся.

— Да . . . молодым был, сильным, в голове-то ветер, шапка набекрень, все казалось нипочем. Времени не терял, какая баба на пути попадалась, ту и брал. Подолгу ни с кем не оставался. Много чего было, и драки, и смеху, и слез. Да как-то из всего выкручивался.

Так и жил до последних лет. И вот довелось мне после одной танцульки... — привел к себе девчонку, вдвое моложе меня, застенчивая... да уж больно ладная. Звали ее Магдалиной (он показал выцветшую фотопластинку).

— По правде впервой сбила она меня с толку. Девчонка-девчонкой, не знал что с ней и делать. Ну да что... пришла, значит, и обошелся с ней, как с другими. Да только уж очень она мне сердце обеспокоила. Вместо того, чтобы выпроводить ее, привязался. Остаться велел.

Она и повеселела, хозяйничать у меня стала. А я домой тороплюсь, радуюсь, что она там возится.

Да вот дернул меня чорт засумлеваться. К свободе я привык, а тут, думаю, возись с ней всю жизнь, еще дите ненароком няньчить придется.

Вот ей и стал говорить, что, мол, на век связывать себя не собираюсь. А она, вижу, грустила, пригелась, видно, как кошка. Мне и жаль ее, и будто может и сам не прочь с ней совсем остаться, а вот не хочу ей этого показать. С печали что ли стала она равнодушной ко всему. Да как-то еще продрогла, слегла и вот ведь напасть такая, — в неделю сгорела, и с чего бы кажется, да так вот и померла.

Рыбак заказал еще вина и, совсем забыв о собеседнике, сидел нахмуренный, старый, поникший.

— Да... — добавил он, — залетела пташка, да пригреть не сумел... А как жалел. Я и сказать не могу... измучился, свету не взвидел. Опротивели мне все, хошь плюнь. Десна пустыня, с тех пор и возвращаться не мог. И потянуло меня в ее край, посмотреть хотел, где она выросла, где махонькой бегала. Когда приехал сюда да как услышу, кто заговорит ее словом, такая тоска, что хоть плачь.

Понравилось мне здесь. Дурак я, дурак, приехать бы сюда с ней да жить, а вот теперь один маюсь. А от этих мест оторваться нет сил, в рыбаки пошел, на баркасе «Наяда» рыбачу. На море-то отойдешь будто, а потом вот этим винищем себя глушишь... Да все одно, вот не могу и не могу ее позабыть уж сколько лет... Эх... чего там, — махнул он рукой.

— Прощенья просим, заговорился, душу-то не с кем отвести. Благодарим за компанию.

Выходя, он проталкивался среди таких же рыбаков, только был он сумрачнее всех и не замечал приветствий.

Кругом постепенно затихала жизнь, пустели кафе и переулки. Лишь издали белели дюны освещенные луной и все так же неизменно на них набегали волны.

После этой встречи, Дмитрий Петрович не раз заходил в то же кафе, ему хотелось еще повидать рыбака, но его все не было.

Как-то он узнал, что, несмотря на бурю, «Наяда» ушла в море за обычным уловом. Вечером он поджидал ее возвращения. Но «Наяда» не вернулась. Не вернулась и на следующий день . . .



Е. Печаткина

Г Р А Ф .

— Граф! Чаю!

В бильярдной делалось все шумнее, табачный дым все гуще. Страсти игроков разгорались. Макаров, чемпион по «пирамидке», красный от возбуждения, с прилипшими ко лбу волосами, нервно вошил конец кия. Случилось так, что какой-то приезжий хлыщ, чьей фамилии он даже не постарался запомнить, в несколько ловких приемов разбил его вчистую.

— Иду на 100 долларов, — запальчиво бросил Макаров. «Хлыщ» небрежно передернул плечами:

— Сто, так сто, — промямлил он и тоже взялся за мелок.

Тем временем граф принес стакан крепкого чаю со скромным кусочком лимона и молча поставил его на столик, даже не взглянув на играющих. Ему до невозможности опротивели лица игроков. И даже случайные, новые посетители, не казались ему незнакомыми, как будто у всех, посещавших этот клуб, было одно общее лицо.

Он также хорошо знал к чему приведет азарт, охвативший двух подвыпивших мужчин. «Будет скандал сегодня», —

подумал он, крепко сжимая свои тонкие губы, и по его уставшему, увядшему лицу прошел нервный тик.

Протиснувшись между праздными наблюдающими за игрой любопытными, граф прошел к своей стойке. Там стояли разные сорта пива и были разложены аккуратно завернутые в восковую бумагу сэндвичи.

— Граф! Пива! Сколько раз вам надо кричать? Оглохли? Или в своих поместьях мечтаете?

Пьяный, с прилипшей к губам папиросой, развязно облокотился о стойку.

— Слышу, — сквозь зубы пробурчал граф, откупоривая бутылку. «Еще три часа осталось, — тем временем думал он, — а завтра я — отпускной».

Было радостно думать, что завтра он хоть на один день сможет забыть о всех этих хамах, не видеть их пьяных лиц. «Только бы опять не задержали до шести утра, как вчера: азарт этих двух не обещает ничего хорошего».

Но скоро освободиться от своих обязанностей ему все же не удалось. Ночная мгла уже начала сереть, когда граф медленно шел домой. Он был в нервном возбуждении. Перед его глазами все еще стояли зеленые столы, а в ушах все раздавалось четкое щелканье бильярдных шаров. Он не мог отделаться ни от надоевших картин, ни от раздражающих звуков, которые неприятно били в уши и вызывали головную боль. Полузакрыв отяжелевшими веками глаза, граф сделал несколько глубоких вдохов: хотелось вытеснить из легких табачный дым, которым он надышался за день. Граф сам не курил, и табачный дым сильно раздражал его. Смешанный с перегаром алкоголя, дым этот был особенно въедчивый, и граф чувствовал его и во рту, и в волосах, и даже казалось, что и вся одежда была им пропитана.

И потому, когда граф пришел домой, в свою скромную маленькую комнату, его первой мыслью было скорей вымыться, снять с себя пропахший костюм, запрятав его как можно дальше в угол чулана.

Утром граф проснулся поздно. Он плохо спал. Всю ночь снились тяжелые сны. Все казалось, что он разнимает дерущихся пьяных мужчин, неряшливых, со сползшими набек галстуками, с разорванными во время драки пиджаками. Ему слышалась их брань и бесконечные окрики: «Граф! Пива! Дай графу в морду! Граф! Граф!».

Проснувшись, он аккуратно выбрился, надел чистое, хрустящее белье, свой лучший костюм и в элегантно пальто и новой, редко надеваемой шляпе, вышел из дому.

Сегодня не нужно было идти в клуб прислуживать пьяным. Сегодня он даже хотел бы забыть и о своем титуле, который посетители бильярдной испоганили, титулуя лишь для вящего унижения. Сегодня он чувствовал себя «настоящим человеком». И этот «настоящий человек» шел по улице с высоко поднятой головой, с просветлевшими глазами. И только землистый цвет лица выдавал его унижительную профессию в затхлой атмосфере.

Граф сел в трамвай и поехал в центр города.

Наметив лучшие фешенебельные магазины, он стал, не спеша, обходить их один за другим. С деловым видом осматривал он дорогую мягкую мебель, останавливался перед художественно декорированными уютными уголками; ощупывал пушистые восточные ковры, фланировал между изящными рядами с хрусталем и фарфором. Красивые продавщицы услужливо показывали ему лучшие марки изысканных столовых и чайных сервизов. Граф внимательно выслушивал родословные породистых собак, с комфортом возлежавших в удобных, чистых клетках, и вежливые продавцы заваливали перед ним прилавки, разнообразными дорогими материями, стараясь удовлетворить вкус требовательного покупателя. Но граф, ничего не покупая, корректно ретировался и переходил в другой магазин.

«В Белом Доме, в конце-концов, посуда лучше, чем где бы то ни было, — мысленно рассуждал он сам с собой, — та, что английской марки, простая белая, с узким золотым ободком. Сколько вкуса и изысканности в этой простоте! Да, да! Безусловно это — лучшая посуда. В следующий понедельник обязательно пойду еще раз ее посмотреть. Мебель же самая лучшая — парижская. Диваны низкие, удобные... Хотя и несколько стилизованные. Впрочем, стилизованность очень сдержанная, не кричащая и подошла бы к любой гостиной. А сбоку, конечно, должна стоять та лампа, что в стиле «модерн». Да, да! Очень неплохо. Дает мягкий страженный свет и одновременно много уюта. Продавщицы же самые услужливые и лучше всех одетые опять-таки в Белом Доме. Безусловно! Даже и спорить нечего!»

Спорить с ним, конечно, никто и не собирался, но полный впечатлений от всего им виденного, граф искренне горячился, как будто и на самом деле предполагал купить все эти дорогие и красивые вещи, чтобы обставить несуществующую барскую квартиру. «А вот насчет картин, — продолжал он фантазировать, — я не совсем уверен. . . В следующий понедельник этот отдел тоже надо будет еще раз обойти. На сегодня довольно».

Сегодня он уже устал, да и проголодался тоже. Он стал обдумывать, куда бы пойти поесть. Остановился перед меню, выставленным у входа в очень фешенебельный ресторан. Изысканные блюда с замысловатыми названиями длинным столбцом следовали одно за другим, а в конце стояла и цена обеда: 8 долларов и 50 центов. Граф неопределенно двинул губами, и нервный тик слегка дернул его щеку. «Фактически я не настолько уж голоден, чтобы съесть все это», — сказал он сам себе и с достоинством отошел от ресторана.

Через несколько кварталов он увидел другой ресторан, поскромнее, и вошел.

Его приветливо встретила очаровательная молодая женщина. С профессиональной улыбкой она проводила его к уютному столику на балконе, откуда открывался прекрасный вид на улицу.

Граф заказал хороший обед, настоящее немецкое пиво (не ту бурду, что подавалась им в клубе) и с наслаждением предался приятным минутам отдыха. Все будничное, повседневное сейчас было далеко. Он весь был наполнен той красотой, которую он сегодня созерцал, трогал руками и от соприкосновения с которой ему казалось, что и сам он стал благороднее, богаче. Он упивался этим сознанием и, медленно потягивая заграничное пиво, любовался видом раскинувшегося пред ним города, уже в веселых вечерних огнях.

Внизу двигался разнообразный озабоченный люд, а граф спокойно сидел в хорошем ресторане, отдыхая и от городского шума, и от всего пошло-будничного. Впрочем, после бесшумно-шумной клубной обстановки нормальный городской шум казался ему как бы придушенным. Да и посетители этого ресторана, вероятно чтобы не нарушить блаженного состояния графа, казалось, тоже говорили вполголоса. Это очень успокаивало нервы и облагораживало, и граф снова чувствовал себя тем барином, каким был от рождения, и ему очень не хотелось расстаться с этим ощущением и уйти из ресторана. Но

тем не менее оставаться здесь дольше было неудобно. Небрежно бросив на стол чаевые, он вышел на улицу.

«Посмотрю какую-нибудь легкую картину», — решил он, останавливаясь перед кинематографом. В витрине были выставлены красочные стрывки фильма. Среди румяно-сочной природы, на бешеных лошадях лихо неслись ковбои.

«Кони! Ах, какие кони!» — с загоревшимися глазами восторженно прошептал граф. В его памяти сразу встали полустертые временем картины прошлого. Он видел себя изящным юношей, ловко сидящим в седле на одной из лошадей богатой отцовской конюшни. Сколько благородства и отваги было в посадке этого юноши!

«Вот если бы сейчас мне подали такого коня, я бы» . . . Нервный тик сильнее обычного задергал щеку престарелого графа. Глаза его стали влажными. Он решительным шагом подошел к кассе театра.

Когда в этот вечер граф вернулся к себе домой, он долго стоял в дверях, не снимая ни пальто, ни шляпы. Ему было жаль расстаться с впечатлениями дня, окунуться в привычные затхлые будни. И он стоял в дверях своей бедной комнатухи с жалкой старой обстановкой и медлил включить свет, который, конечно, сразу безжалостно разрушит его иллюзию «настоящего человека».

Но остановить время было невозможно.

Наступившее утро было уже самым обычным. Сделав кой-какие закупки для бара, граф привычно зашагал в клуб, в своем ежедневном, потертом пиджачке и в брюках, давно неглаженных и сильно растянутых в коленях.

А когда стемнело, бильярдную быстро стали заполнять ее завсегдатаи. И все было, как всегда. И как всегда, зала быстро подернулась табачным дымом, и сквозь его клубы то и дело раздавались грубые, пьяные окрики:

— Граф! Чаю! Граф!

Е. Печаткина .



ЧУВСТВО ДОЛГА

Молодой парнишка в изорванной солдатской форме лежал, истекая кровью, на нескошенном лугу, взрытом свежими воронками от снарядов. По временам он терял сознание и от потери крови, и от боли: раны его были незначительны, но многочисленны; а его ноги, разбухая и чернея, совершенно ему не повиновались и, казалось, даже не принадлежали к телу.

В начале боя его послали в штаб дивизии по луговой заброшенной дороге. Спаряды залетали на эту дорогу редко, вероятно, больше по ошибке; но один из них нашел свою цель: убил под ним лошадь и отбросил его, с изорванным телом, на десяток метров от дороги. Он лежал там теперь один, неспособный двинуться с места, без надежды на помощь, и ждал смерти.

Умирать было не страшно — и не жаль. Казалось только странным умереть здесь, на мирном лугу, в тишине, под ласковым ясным небом, лежа в траве, как когда-то он любил лежать в детстве . . .

Очнулся он от толчка и окрика. Над ним стоял немецкий солдат и шевелил его носком сапога. В руках его была винтовка и она смотрела Борису прямо в лицо; но ни страха, ни радости от присутствия человека он не почувствовал. Им владело полное равнодушие.

Видя, что лежащий открыл глаза, немец скомандовал:

— Aufstehen!

И знаком показал: встать!

Борис не шевелился. Он, видимо, долго пролежал в забытьи: солнце стояло уже в зените и жгло немилосердно. Во рту и в горле пересохло. Жестоко мучила жажда.

— Пить, — с трудом выдавил он из себя и затем, как ни отуманен был его мозг, понял, что нужно сказать по-немецки:

— Trin . . . ken . . .

Немец быстро заговорил, но Борис ничего не понял.

— Trin . . . ken . . . — сказал он еще раз и, напрягаясь, прибавил:
— Ich sterbe . . .

Солдат опустил винтовку, вытащил фляжку и потряс ею перед лицом Бориса: воды в ней было мало. Он показал на фляжку, потом на себя, потом на солнце, развел руками и спрятал фляжку. Борис закрыл глаза.

— Schies . . . sen . . . — сказал он.

— Verdammt noch-a-mal!! — выругался солдат. Послышалась возня. Немец приподнял голову Бориса и приложил фляжку к его губам. Тот открыл глаза, выпил теплую, отдающую болотом воду и протянул немцу руку:

— Dan . . . ke . . .

Немец руки не взял; он сидел перед Борисом на корточках и рассматривал его лицо. Потом спросил:

— Kannst du aufstehen?

Это Борис понял. Он молча показал на свои ноги — две толстые, черные колоды.

— Verdammt! — снова выругался немец.

Некоторое время он стоял и думал. Потом перекинул винтовку через плечо и, наклонившись, начал поднимать Бориса. Поставив его на ноги и убедившись, что итти Борис не может даже при поддержке, снова подумал и затем, одной рукой занеся руку Бориса через свое плечо, повернулся к нему спиной и, поймав его другую руку, обвил ее вокруг своей шеи.

— Halte fest! — сказал он, и, подхватив Бориса под колени, наливаясь кровью в лице и потая, понес его по узкой дороге, оступаясь в колеи, покачиваясь, отмахиваясь головой от оводов.

По временам немец опускал свою ношу на землю, отфыркивался, отдыхал, — Борис был наречь солидный, подстать ему по росту, и затем начиналась та же процедура: одну руку через одно плечо, другую — через другое, «Halte fest» — и снова в путь. Делали, вероятно, не более километра в час.

Наконец, немцу стало, видно, неловко. Свалив Бориса у края дороги, он что-то проговорил, отфыркался, отдышался, и ушел, пошатываясь от усталости.

«Спасибо и за то . . . — смутно подумал Борис. — Спасибо за попытку . . . » .

Сколько времени он лежал там один, он не отдавал себе отчета. Внезапно его слух уловил скрип телеги. Пофыркивая, маленькая крестьянская лошаденка остановилась против того места, где он лежал. С телеги соскочил тот же немец. Широко улыбаясь и кряхтя, он дотащил раненого до телеги, взвалил, как сноп, и поехал с ним, чмоканьем подгоняя лошадь, — точь в точь, как русский мужик.

Привезя Бориса в какую-то немецкую часть, он нашел санитаря и тот грубовато, но добродушно, «обработал» воспаленные раны. Откуда-то

взялся переводчик, говоривший по-русски свободно и явно влюбленный в русскую ругань. Пересыпая свою речь вариациями брани и весь сияя при этом, он объяснил Борису, что его пошлют в немецкий лазарет, с главным врачом которого санитар хорошо знаком.

— Твое счастье, что ты попал в нашу часть и при том один, а не с толпой других пленных. К тебе теперь индивидуальный подход. Наш санитар говорит, что с твоими ногами что-то там делается . . . ну, что я знаю! — Какой-то особый процесс . . . Врач в лазарете интересуется именно такими случаями. Будет на тебе учиться . . . Но ты не беспокойся, это замечательный доктор, специалист! Он тебя отремонтирует чстью!

Видя, что немец, подобравший его на лугу, собирается уходить, Борис поблагодарил его через переводчика за оказанную помощь. Тот засмеялся, что-то ответил, и ждал пока его ответ будет переведен.

— Он говорит, что одними словами ты не отделаешься: у него до сих пор спина болит. Если после войны случится тебе быть в Бремене, ты должен будешь купить ему бутылку коньяку. Найти его, он говорит, очень легко: его фамилия Беккер, Ганс Беккер; он беккер-булочник, по профессии и живет на улице Беккер — Беккерштрассе. Так что ты не забудь!

— Скажите ему, что я не забуду. Буду в Бремене или нет, но если буду жив, бутылку коньяку он получит . . .



Несколько лет спустя, Борис стоял перед небольшим чистеньким домиком на Беккерштрассе в Бремене. На медной дощечке двери стояло, выгравированное :

«Johannes Baecker»

Под мышкой у Бориса был тщательно завернутый в бумагу пакет.

Война давно окончилась, как страшный сон. Люди снова стали людьми, и те, что тогда убивали друг друга, теперь стремятся помочь друг другу в беде. Но это теперь; Ганс Беккер унес его на своих плечах от смерти не теперь, а тогда . . .

Тихая Беккерштрассе купалась в полуденном зное. Воскресный покой царил во всем. В палисаднике Ганса Беккера цвели георгины . . . Борис нажал кнопку звонка.

Дверь открылась, и Борис немного опешил. Кого он ожидал увидеть? Не солдата же в каске и серовато-зеленой форме! Конечно, нет; но и не этого приглашенного, предупредительно-вежливого типа с худощавым и бледноватым, а не круглым и красным лицом.

— Was wünschen Sie, bitte? — спросил Ганс, в присущем немцам тоне как бы радостного ожидания возможности услужить.

— Вы, вероятно, не помните . . . но однажды во время войны вы вынесли на своих плечах полумертвого русского солдата и помогли отправить его в лазарет. Это был я. Хочу еще раз поблагодарить вас и исполнить свое обещание, помните? — Вот вам ваша бутылка коньяку.

— О-о-о! — воскликнул Ганс Беккер и в его глазах попеременно промелькнули выражения удивления, удовольствия и затем — легкой проники. — Так это вы! Живы, здоровы и здесь в Германии! Я страшно рад! Я действительно страшно рад! Боже, какая перемена! Какая неожиданность! Но войдите же, пожалуйста, войдите; вот, прошу вас сюда, — взяв Бориса под локоть, он провел его по устланному цветным ковром коридору, пропуская впереди себя в гостиную.

— Садитесь, пожалуйста. Располагайтесь поудобнее. Позвольте . . . — он взял из рук Бориса пакет, хотел положить его на овальный стол, но потом передумал и развернул его. Взглянув на бутылку, он улыбнулся, многозначительно взглянул на гостя и, извинившись, вышел.

Борис осмотрелся. Комната была обставлена в бюргерском стиле, хотя чье-то вмешательство внесло немного фантазии в этот стиль: здесь какая-то статуэтка, где ей не следовало бы быть, там несколько книг не на месте, немного больше цветов, чем можно было бы ожидать . . . Борис не мог рассмотреть всех деталей. Взгляд его остановился на портрете молодой женщины на угловом столике. Она смотрела на него вдумчиво и, казалось, чуть насмешливо, словно видя его насквозь и желая сказать: вот ты какой! Борис не мог отвести глаз . . .

Ганс вошел в гостиную с другой бутылкой в руках. Он торжествующе поставил ее рядом с бутылкой Бориса и тот увидел, что это был коньяк, той же самой марки, как и его подарок.

— Мы выпьем вместе, — сказал Ганс: — я выпью вашего коньяку за ваше здоровье, а вы моего — за мое. Вы мне ничего не должны. То, что тогда произошло, произошло по стечению обстоятельств. От меня ничего не зависело. Я исполнял свой долг. Я говорю не о долге человечности, а о долге солдата. Немецкие солдаты все исполняли свой долг — всегда, при всех обстоятельствах и до самого конца. Долг, который заключался в исполнении клятвы верности и повиновения приказам, какого бы рода они ни были. Мы имели в то время соответствующий приказ, и я его исполнил.

Он открыл обе бутылки и налил Борису из своей, а себе из бутылки Бориса.

— Prosit! — сказал он, поднимая свою рюмку. Борис встал и тоже поднял свою:

— Prosit!

Они выпили и уселись.

— Да, — сказал Ганс задумчиво, — я рад, что так вышло. Нам был дан приказ подбирать раненых солдат противника и обходиться с пленными человеком. Вероятно это было вызвано тем, что в начале войны наблюдались эксцессы в обращении с пленными и это привело к ожесточению в сопротивлении, к увеличению партизанской деятельности. Однако, чем это было вызвано — не мое дело. Я только следовал приказу.

Борис чувствовал себя неловко.

— Я думаю, что вы сделали бы то же самое и без приказа. Ведь не было же у вас приказа отдать мне последнюю воду, в то время, как вас тоже томила жажда. Я понимаю, какой вы человек.

— Какой я человек — это сюда не относится. На войне я был солдатом. К счастью, я никогда не был поставлен перед необходимостью совершать акты бесчеловечности. Но если бы это случилось? Если бы, как это часто бывало при некоторых обстоятельствах, мы имели бы приказ не брать пленных? Приканчивать раненых? Как бы, по вашему, я поступил?

Борис молчал.

— Вы думаете, я ослушался бы приказа? Не исполнил бы моего долга?

Он встал и налил еще по рюмке. Подал Борису, и сел, держа свою в руке.

— Я не знаю . . . — медленно сказал Борис. — Я сужу по себе. Не так-то просто убить человека. На поле сражения, в горячке боя — да. А лежащего на земле раненого . . . когда я остыл от боя и трезв . . . нет, я бы этого не сделал. Есть разные понятия долга. Долг перед родиной — защищать ее от врагов, и долг перед своей совестью — не убивать человека, когда он перестал быть врагом, когда он безвреден, полумертв . . .

— Допустим, — сказал Ганс. — Никто не говорит, что это легко. На войне делалось много вещей, которые были не легки. И все же их делали. Вы думаете Германия выдержала бы шесть лет войны против всего мира, если бы каждый солдат рассуждал и истолковывал свой долг по своему? Наш долг был один — повиновение.

Борис попробовал еще один довод:

— Мы были там одни на том дугу. Ни души вокруг. Вы могли пройти мимо, подумав — зачем трогать? И кто бы знал?

— Я знал бы, — сказал Ганс. — Вы говорите о совести. Моя совесть упрекала бы меня в том, что я не исполнил приказ. Об этом не могло бы быть и речи. Нет, вы можете быть уверены, что я бы приказ исполнил

— легко или не легко. Почему я вам все это говорю? Вот почему: вам не было надобности покупать этот коньяк. Я тогда пошутил. Мы выпьем еще по рюмке и вы заберете его с собой. Если бы тогда не было приказа подбирать раненых, я, вероятно, подобрал бы вас так или иначе. Не имея приказа убивать, я бы вас безусловно не убил. В таком случае я следовал бы своей совести. Тогда вы должны были бы мне эту бутылку. Я, конечно, шучу, но вы видите разницу?

«Вот, черт возьми, тонкости! — подумал Борис, — вот это, действительно, знаменитая немецкая аккуратность! . . .»

— Как бы то ни было, — сказал он, — если я сейчас жив, то это только благодаря вам. По приказу или без приказа, вы спасли мне жизнь и я не могу не чувствовать благодарности к вам. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас, и я пойду. Надеюсь, что вы не раздосадованы моим посещением?

— Раздосадован? Боже упаси! Я уже сказал вам, что я страшно рад, и это правда. Я часто вспоминал о вас, хотелось знать, что с вами случилось. Теперь я вижу конец нашей истории. Слава Богу! Итак — еще по рюмке, и затем, если вы спешите, я не стану вас задерживать. Моя жена должна скоро вернуться, мы собираемся пойти в кино.

Но Борис не успел уйти . . . Послышался звук открываемой двери, шаги в коридоре, и на пороге появилась молодая женщина, оригинал портрета. В действительности она была еще красивее. Хотя взгляд приковывало и не отпускаяло ее открытое, четко очерченное лицо под зачесанными назад кудрями, цвета тусклого золота, и особенно ее глаза — туманной морской голубизны, подсознание все же схватывало одновременно и всю ее стройную фигуру, величавую посадку головы, покатошь плеч, естественную, небрежную грацию, гармонию всех ее движений. Как и с портрета, ее глаза, под дугами бровей, глядели собеседнику прямо в душу. Полные, сочные губы даже при серьезном выражении глаз, казалось, скрывали легкую снисходительную усмешку.

Она, видимо, привыкла к тому, что ею любят и подставляла себя взгляду просто, без кокетства, как бы говоря — «что же, смотрите, если вам нравится, мне не жаль».

«Богиня» — мелькнуло в уме Бориса.

— Helene, — сказал Ганс, — этот господин — мой старый знакомый, со времени войны. Как, простите, ваше имя?

— Громов, Борис Громов. Наше знакомство было очень коротким и несколько необычным. Ваш муж вынес меня на своих плечах с поля боя и этим спас мне жизнь. Я пришел поблагодарить его.

— Так вот вы какой! — сказала она, к удивлению гостя, по-русски, — Ганс мне рассказывал об этом. Ему не давало покоя, что он

ничего не мог узнать о вашей участи. И я невольно тоже думала о вас, пыталась представить себе вас и вашу судьбу. И вот — «друзья встречаются вновь»! — Она рассмеялась: — Впрочем, тогда вы были не друзья, а смертельные враги. Подумать только! Ну, что ж — теперь примирились? Подружились? Выпиваете? Надеюсь я вам не помешала, не обращайтесь на меня внимания, садитесь! Ганс, у меня пропало желанье идти в кино. Говорят, что фильм пустячный. Занимай гостя, пока я приготовлю что-нибудь к ужину.

— Я как раз собирался уходить, — начал было Борис, но она перебила:

— Я вижу, как вы собирались уходить: две бутылки стоят для того, чтобы пить. Не бойтесь, я компании не испорчу.

Она вышла и Борис взглянул на Ганса. Молча, с шутливым поклоном, Ганс указал на кресло.

«Странно, что он не сказал, что женат на русской. Было бы логично упомянуть об этом в разговоре с русским. Но все же мне следовало уйти пока было удобно. Теперь поздно . . . »



. . . Вечером того дня Борис возвращался домой шатаясь, и разговаривая со звездами. Никогда в своей жизни он еще не был так пьян. Двух бутылок они, правда не выпили, даже втроем. Но Борис был пьян не только от коньяка: он был влюблен и, сознавая это, задыхался от счастья и содрогался от мысли: а что же будет потом? . . .

Прошел день, другой, прошла неделя. Борис отрезвел от первого порыва опьяняющей любви и, хотя знал, что ему уже не избавиться от этого чувства к Елене, решил, что нельзя продолжать это знакомство. Он не пошел к Беккерам, как обещал, ни в следующее воскресенье, ни во второе; а в третье пошел на вечер танцев, устраиваемый каким-то русским обществом по какому-то поводу, и, едва войдя в зал, лицом к лицу столкнулся с Беккерами.

Оказалось, что они часто бывают в русском обществе, благодаря знакомствам Елены. Ганс, если и чувствовал себя иногда не в своей тарелке, не показывал вида. С ним обращались дружелюбно, бесцеремонно, старались не только с ним, но и между собою в его присутствии говорить по-немецки, однако сбивались на русский и тогда он мог гадать сколько угодно — говорит ли кто с Еленой о погоде, или сыплет ей комплименты, или неопозволительные вольности. Он был рад встрече с Борисом.

Борис, который не был большим охотником до танцев, остался сидеть с Гансом в спокойном уголке и завязал с ним разговор; но оба то и дело искали глазами Елену. А ей от кавалеров не было отбоя! Ее отни-

мали друг у друга; особенно увивался за ней молодой красивый поляк, и Борис заметил, что каждый раз, когда она танцевала с ним, Ганс казался особенно настороженным. Несколько раз Ганс сам танцевал с нею, но всякий раз поляк очень вежливо просил разрешения на следующий танец и Ганс выглядел бы смешным, если бы отказал!

— Бедный муженек, — сказал сосед с левой стороны Бориса, наклоняясь к нему боком. — Вы давно с ними знакомы?

— Только что познакомились, — ответил Борис и посмотрел на соседа. Долговязый, щеголеватый, он многозначительно улыбался и, видимо, так и горел желанием посплетничать.

Так Борис узнал, что этот поляк — первая любовь Елены. Ганс, вернувшись с фронта, впервые встретил ее пятнадцатилетней девочкой. Она как «остовка» работала у его жены в пекарне, в магазине и в доме. Ей не было еще и четырнадцати, когда немцы отправили ее в Германию. Ганс вскоре развелся с женой. Елене он стал как бы отцом или старшим братом. Вырастил ее. Думал ли он о будущем с самого начала или нет — сказать трудно; но когда спохватился — чуть не оказалось поздно. Елене было восемнадцать лет и у нее была толпа вздыхателей гуще, чем под папским балконом! И впереди всех — этот поляк, Янэк. Он перед ней так и расстилался, не отставал ни на шаг, и было совершенно очевидно, что и она не избегала его. Все ожидали скорой свадьбы, а она вдруг оказалась замужем за Гансом. Никто не мог ничего понять.

— А узелок-то развязывался просто! — Вы только посмотрите на них: она замужем за солидным, состоятельным немцем, живет барыней, — и поляк тут же при ней, готовый к услугам! «Проше, пани! Пшепрашем, пани! Як матку Боску кохам, пани!» — Сочетание приятного с полезным! . . . — заключил собеседник Бориса.

Борис внимательно присмотрелся к танцующей паре. Янэк изгибался перед ней дугою, шептал ей что-то на ухо, а она, закинув голову, смеялась и отвечала ему непринужденно и громко.

Музыка смолкла, поляк еще раз изогнулся перед Еленой, провожал ее на место, но не дойдя нескольких шагов остановился, чтобы окончить начатый разговор. Он говорил ей что-то горячо и страстно, но не громко, и Борис не мог уловить слов; однако, когда тот начал вдруг декламировать, Борис понял слова, которые знал наизусть:

”Я цо в таким запалэм тыле лят те кохалэм

Бендэ кохал и енчал далеки? —

Он не кохал, не енчал, тылько тшосэм забженчал,

Ты сь му вшистка спшедала навеки!“ *)).

*) Я, что так страстно любил тебя столько лет, должен любить и страдать вдалеке? — Он не любил, не страдал, только побряцал кошельком и ты навеки ему все продала! (Мицкевич).

Борис украдкой взглянул на Ганса. Напрасный страх! Ганс спокойно глядел вокруг невинными глазами, сдержанно (и при данных обстоятельствах казалось — глуповато) улыбался. Откуда же ему было знать, что разговор идет о нем?

А Елена смеялась воркующим смехом и отвечала поляку — явно в шутку, но все-таки!

— Ниц не спшедалам, Янэк! Цо оддалам — оддалам кохаёнцнм сэрцэм. Естэм вольна забрать з повротэм и оддать иннэму. Яе кого по-кохам венцей . . . **).

В этот момент раздались звуки вальса и Борис резким движением сорвался с места и в два шага стал перед парой. Он разъединил их руки и взял Елену за талию.

— Пшепрашем, — бросил он Янэку и — «Можно?» — спросил Елену.

— Цо то? — возмутился Янэк. — Я не позволяю!

Он вцепился было в руку Бориса, который уже сделал шаг в танце. Борис резко стряхнул его руку и остановился. Он уставился в глаза Янэка неподвижным взглядом, — таким, что с того соскочил весь хмель. Пробормотав что-то невнятное, он отошел, сел у стенки и вытер пот. А Борис кружился с Еленой, не заговаривая с ней, не глядя на нее, с окаменелым лицом. По окончании танца — поблагодарил молчаливым поклоном и так же молча провел ее к месту. Ганс видел и понял все, что произошло. На следующий танец Елена отклонила все приглашения и танцевала с Гансом, а когда они вернулись, Ганс сказал Борису:

— Мы уходим домой. Helene чувствует себя усталой. Пойдемте с нами; посидим в покое, поболтаем, выпьем. Ваша бутылка вас тоже еще ждет, — добавил он шутливо.

В его тоне было что-то такое, что Борис покосился только секунду, и ответил:

— Хорошо. С удовольствием.

В гостиной у Беккеров они и впрямь «посидели в покое»; Борис почти не разговаривал, только односложно отвечал на вопросы. Елена вскоре извинилась и ушла. Некоторое время Борис и Ганс сидели молча. Ганс наливал, они произносили «прозит», выпивали — и все. Неожиданно Ганс сказал:

— Простите, если я вам задам вопрос, который вам покажется по меньшей мере необычным: что вы думаете о моей жене?

Борис удивился.

**) Ничего не продала, Янэк! Что отдала — отдала любящим сердцем. Могут все взять назад и отдать другому. Если кого-нибудь полюблю больше.

— Я действительно нахожу вопрос необычным, при таком коротком знакомстве . . . Тем не менее я думаю, вы найдете естественным, что я считаю ее очаровательной . . .

Ганс помолчал, затем очень медленно и тихо сказал:

— Я задам вам еще один вопрос, который вам покажется еще более странным... несмотря на опасность, что этот вопрос может вас рассердить . . . Итак — каковы ваши чувства к ней?

Борис побледнел, затем почувствовал, что кровь приливает к его лицу. Несколько мгновений он остался сидеть, ловя воздух открытым ртом; затем поднялся и шагнул к Гансу. Хорошо же! Я ему скажу! И пусть он идет в черту!

— Я вашу жену люблю, — сказал он как бы угрожающе, слегка наклоняясь над оставшимся сидеть Гансом. — Я полюбил ее с первого взгляда, с первого ее слова. Вы это заметили и вам это показалось забавным? Это для того вы пригласили меня сегодня, чтобы посмеяться надо мной? Не будучи русским, вы безусловно не поймете, что такая женщина значит для русского. Не будучи женщиной, как вы показали себя сегодня, вы не поймете и того, что такая женщина может значить любому мужчине. Я вашему приглашению ранее не последовал и не имел намерения видеть Helene снова. Сегодняшняя встреча была случайной, и я остался бы в стороне или вовсе ушел бы, если б вы сами не удержали меня. Не беспокойтесь из-за меня, но знайте, что русская женщина в любую минуту плюнет на ваш уют и на все ваши хорошие условия. Русская женщина не продается за булочки и пирожки. Если Helene вышла за вас замуж, значит она вас любила. Но если вы не попытаетесь понять ее внутренний мир — эта любовь не продлится долго. И тогда вам ее не удержать. Пусть это будет вам предостережением. Услуга за услугу. Вы мне спасли жизнь, я хочу спасти ваш брак.

— Но вы сядьте, однако, — сказал Ганс, как будто ничего не случилось. — Наш разговор далеко не окончен.

Возмущение Бориса прошло так же внезапно, как и вспыхнуло. Он недоумевающе поглядел на Ганса и медленно опустился в кресло. Ганс встал и налил еще по рюмке.

— Вы угадали, — сказал он. — Я заметил, что вы влюбились в Helene. Но я не собираюсь смеяться над вами или упрекать вас в чем-либо. Наоборот, я хотел искать вашей дружбы — именно потому, что вы ее полюбили.

Он вышел, не произнося обычного «прозит», и продолжал так же спокойно и деловито, как начал:

— У меня сложилось впечатление, что ваша любовь к ней такова, что вы думаете не о себе, а о ней — о ее счастье, довольстве, о ее ду-

шевном покое. Или я ошибся? . . . Такова и моя любовь к ней. Вот почему я и решил с вами об этом поговорить. Если ваша любовь к ней такова, что вы хотите только ее благополучия — зачем отстраняться? Почему не остаться при ней — при нас — и не пополнить ее жизнь тем, чего ей не хватает? Когда я женился на ней, я был искренне убежден в том, что могу дать ее жизни достаточное содержание, — иначе, уверяю вас, я бы тоже отошел в сторону. Но я вижу, что я ошибся. Ей не хватает своего, родного, русского. Она бродит по дому и мурлычет русские песенки; я слышу, как она вздыхает. Иногда она даже разговаривает сама с собою — по-русски. Вы хотите сказать, что я не пытаюсь ее понять. Я пытаюсь! Я начал даже учиться от нее русскому языку. Но это не сделает меня русским. Я был бы счастлив, если бы у нее был преданный друг, с которым она могла бы делиться этим своим родным, русским. Думаю, что таким другом могли бы быть вы.

— Но ведь у нее есть много старых знакомых и друзей; чем я лучше других, чтобы, как вы выражаетесь, пополнить ее жизнь?

— Тем, что она вам не безразлична; тем, что это могло бы быть и вашим собственным счастьем — делать ее счастливой. Что ей может дать общение с теми, кто к ней равнодушен? С ними она только острее чувствует пустоту в своей жизни. Я хотел создать для нее родственную ее духу атмосферу в ее собственном доме. Я хотел вам предложить жить с нами. Вы, кажется, говорили, что снимаете крошечную комнату в дешевом квартале и что недовольны ею? У нас есть большая светлая комната с окнами в сад; ни уличного шума, ни пыли; тишина и покой. Что вы на это скажете?

— Вы с ума сошли! — сказал Борис. Помолчал и снова с убеждением повторил: — Вы сумасшедший!

— Почему?

— Да ведь — Боже мой! — вы приглашаете меня в ваш дом, несмотря на то, что я люблю вашу жену?

— Не только несмотря на это, а именно потому, что вы ее любите. Я уже сказал: я вижу, что вам дорого ее счастье. Так в чем же дело?

— Так если уж на то пошло, то судя по всему, что я видел и слышал — и что вполне понятно — у нее много поклонников; толпа! Меня же вы и видели-то всего два раза в жизни — один раз полумертвым, другой раз — полу пьяным; и мне вы хотите доверить заботу о вашей жене?! Нет, вы не в своем уме . . .

Последовало долгое молчание. С легкой усмешкой Ганс сказал:

— Как видите, я не вполне бескорыстен. Любя ее, вы не захотели бы увидеть ее в грязи — как не хочу этого и я. Но может оказаться, что я не буду в состоянии уберечь ее — ввиду ее тяги к своему, к ро-

ному, к тому, чего я не могу ей дать. Вы ее любите, но вы, конечно, любите в ней ваш идеал, как и я люблю в ней мой идеал, — не правда ли? Мало ли кто любит чужих жен! И в этой чужой жене видит только идеал, по которому впоследствии выбирает свою собственную подругу жизни. Вы когда-нибудь женитесь сами, и в вашей жене будете видеть Helene . . . Идеал может быть только один; он не допускает отступлений.

Эта логика немного покорибила Бориса. Нет, он не мог бы думать о женщине, как об идеальной геометрической фигуре; тем более о Елене! А Ганс продолжал:

— И вы говорите о толпах поклонников! О тех, которые думают не о ней, не о ее счастье, несчастье или гибели, а о своем удовольствии!

— А почему вы думаете, что я, если не сейчас, то со временем, так-таки никогда не подумаю и о себе? Что я соглашусь развлекать свою королеву только русскими песенками, болтовней о всяком вздоре, только — Боже упаси! — не речами о своей любви, и для чего? — Для того, чтобы держать ее счастливой, довольной, благорасположенной для ее супруга — Его Бюргерского Величества? Создавать атмосферу покоя, довольства и благополучия в доме Ганса Беккера для Ганса Беккера, прикрывать ее от покушений других, как сегодня от поляка, оберегать ее супружескую верность? Да за кого, черт возьми! — вы меня принимаете?

Ганс встал, и словно подчеркивая то общее, что их волей или неволей связало, перешел на «ты»:

— Я считаю тебя прямым и честным человеком. Хочешь верь, хочешь нет, это впечатление создалось у меня уже тогда, на том лугу, когда ты спокойно сказал мне: «стреляй». Оно подтвердилось и этой бутылкой коньяку, что ты не позабыл принести через столько лет, и твоим поведением сегодня, и каждым взглядом на Helene. Я тебе скажу вот что: я не хочу игры в прятки. Ты любишь ее — хорошо же, вот твой шанс. Я не требую, чтобы ты скрывал от нее свои чувства. Я надеюсь только, что ничего не будет происходить за моей спиной. Это даст и мне мой шанс, которого я не имею с другими моими соперниками, нашептывающими ей Бог знает что. Если она недостаточно любит меня, я ее потеряю раньше или позже — выбор у нее есть, соблазнов много . . .

Снова наступило молчание. Борис встал и несколько раз прошелся по комнате. Подошел к Гансу, стоявшему опершись на стол, и стал с ним лицом к лицу.

— Ганс, — сказал он, тоже переходя на «ты», — я ценю твою откровенность. Ты прав, я люблю Helene без задней мысли, мне кажется, самой чистой любовью; но я должен буду сказать ей об этом. Она

только посмеется надо мною. И пусть: я буду рад видеть ее смех и буду только любить ее за это больше.

— Abgemacht, — сказал Ганс и подал ему руку. Я поговорю с Helene о той комнате для тебя . . .

«Все взвешено, рассчитано, заранее подбиты итоги» . . . подумал Борис, не без восхищения этой немецкой рассчитанной порядочностью, геометрической идеальностью и аккуратностью.

Жить в одном доме с Еленой . . . Видеть ее каждый день, слышать ее голос, ее смех . . . Нет, он не мог бы отказаться от этого!



Так образовался «треугольник», где муж был рад тому, что у него есть соперник, который, не будучи опасен сам, оберегает его жену от других, отнимает у нее причину тяготиться домом и тянуться к чему-то иному; где двое мужчин разделили между собою заботу об одной женщине.

Ганс посоветовался с Еленой, и она, ничего не подозревая, согласилась на то, чтобы Борис жил у них. С тех пор их можно было видеть только втроем: на прогулках, в кино, у знакомых. По отношению к Гансу Борис не испытывал ни ревности, ни стыда. Между ними установились дружественные отношения, так же, как и с Еленой. Так протекло два года.

Неожиданно Ганс объявил, что хотел бы уехать из Германии. Было ли это вызвано только желанием уйти от своей собственной тени или из Германии, где ему претили новые убеждения послевоенного периода — он об этом не распространялся. Сказал только, что хотел бы начать новую жизнь. Выбор остановился на Канаде, а в Канаде — на смешанном, многолюдном Монреале.

Что касается Бориса, вопрос о том, едет ли он тоже или нет, просто даже не возникал. Как-то подразумевалось само собою, что он едет с ними. Все было продано, вплоть до большей части личных вещей. Переезд совершился.

Жить в новой стране они стали попрежнему все вместе, хотя Бориса и начинало тяготить быть «лишней спицей в колеснице». Нужно как-то кончать, — думал он. — Но что сделать? Уйти он не мог. Попытаться завоевать Елену для себя? Разбить семейную жизнь Ганса? Нет, это тоже ему казалось невозможным . . .

Развязка пришла внезапно. Ганс и Елена уехали в отпуск на побережье моря, и по истечении времени отпуска, когда Борис уже ожидал их возвращения, ему принесли телеграмму:

«Приезжай немедленно. Ганс ранен в автомобильной катастрофе. Хочет тебя видеть».

Через пять часов сумасшедшей езды Борис приехал, но было поздно. Ганс был мертв.

Елена встретила Бориса, как чужая. Невидящим взглядом, глядя мимо него в пространство, деревянным голосом, неестественно отчетливо выговаривая слова, она сказала:

— Прости, что я тебя побеспокоила. Обо мне не тревожься. Я вполне владею собой. Поезжай назад. — И вдруг прибавила: ты понимаешь . . . мы не можем остаться одни в доме. Постарайся найти себе другую квартиру. По возможности немедленно. Поезжай, Боря. Иди. Оставь меня одну.

— Лена . . .

— Я прошу тебя. Я хочу быть одна.

— Хорошо, Лена, я не буду тебя тревожить, но я, конечно, пока не уеду. Я буду здесь, при тебе и Гансе.

— Боря!.. — Это был крик. Но затем ее голос снова погас и стал равнодушен. — Хорошо. Оставайся при Гансе. Я не могу тебе запретить. Вы были друзьями.

Она повернулась и ушла . . .

Ганса хоронили в Монреале. На похоронах Борис подошел к Елене, чтобы сказать ей что-нибудь, но она, не ожидая его слов, пробормотала «Спасибо, Боря» . . . и отошла, будто бы поправить венок . . . Домой она не вернулась, позвонила, что останется у подруги до тех пор, пока Борис не переедет; и положила трубку, не дав ему возможности сказать хоть слово.

Борис переехал и, выждав некоторое время, чтобы дать улечься его горю, позвонил ей. Услышав его голос, она положила трубку. Борисом овладела тревога:

«Неужели она меня ненавидит? Неужели она ненавидела меня все время, и только скрывала? — Но почему? За что? Или возненавидела меня теперь, думая — почему Ганс, а не тот, другой, должен был уйти? Боже мой, но это невозможно! Я же знаю ее . . . Я же знаю . . . Я же знаю ее!!!»

Через несколько дней он позвонил ей снова. Он приготовился ко всему, и когда она ответила, он заговорил быстро, без предисловий:

— Лена, я должен тебя видеть, нам нужно поговорить, объясниться . . . Мы же были друзьями! Ты не имеешь права оттолкнуть меня так внезапно, даже не объясняя почему, Лена? . . .

Она молчала. Было слышно ее дыхание.

— Лена . . . Лена!!! Ради Бога, что ты со мной делаешь?! Чем я заслужил твою ненависть?..

Наконец она заговорила. Прерывисто, короткими фразами:

— Ненависть? . . . Боже мой, Боря . . . Я не подумала, что ты поймешь это так . . . Прости, Боря. Да, нам нужно поговорить . . . Но не теперь . . . Я тебя очень прошу . . . Мне больно . . . Я тебе объясню . . . До свидания, Боря . . . Не сердись . . . Слышишь? Я дам тебе знать . . .

Прошло два-три месяца. Елена не давала о себе знать. Собравшись с духом, Борис зашел в ее магазин, зная, что в это время она будет там. Когда он вошел, она взглянула на него и замерла. Несколько мгновений они смотрели друг на друга.

— Боря, я тебя просила . . . — сказала она, наконец.

Борис вспыхнул.

— Я зашел купить хлеба, — ответил он почти враждебно.

— Эдна, — обратилась она по-английски к продавщице, — будьте добры, обслужите покупателя.

И быстро вышла.



Прошел мучительный для Бориса год. Елена жила настолько замкнуто, что он не только не встречал ее у общих знакомых, но даже ни от кого не слышал о ней.

С наступлением лета, тяготясь городом, он поехал на озеро, где Ганс когда-то купил себе дачу и где они втроем провели одно чудесное лето. Теперь эта дача, конечно, была для него закрыта. Среди немногих непроланных участков он выбрал себе один — на крутой горе. Заказав строительный материал, он начал строить себе домик, по собственным планам. Дача Елены, стоявшая на другом конце озера у самой воды, была отсюда хорошо видна. Но там никогда не было заметно никакого движения.

Однако, однажды в субботу, когда он, устав таскать балки на стропила, присел отдохнуть над обрывом на изломе скалы, внизу по дороге, ведущей на другую сторону, прошла машина, которую он так хорошо знал. Его сердце замерло и кровь отлила от лица: это была Елена.

После того она стала приезжать часто, почти каждое воскресенье. Узнала ли она его машину, стоявшую под горой — ей приходилось каждый раз огибать ее на узкой дороге? Да где там, женщины в этом не наблюдательны . . . Но раз он шел от небольшого ресторана на пляже к своей горе; услышав за собой чью-то машину и отступая с дороги, чтобы пропустить ее, он лицом к лицу на мгновение увидел Елену. Она, очевидно, знала о его присутствии здесь! — В ее глазах не было удивления от неожиданной встречи. Она слегка улыбнулась и приподняла руку в знак приветия. И проехала. Не остановилась!

Поднявшись к себе на гору, Борис долго сидел, закрыв лицо руками. Жестокая обида и стыд душили его: столько лет самоотверженной, чистой любви и бескорыстной преданности — и вот награда!.. Нет, этого нельзя вынести! Я сделаю еще одну последнюю попытку объяснить с ней; и если она снова не захочет говорить со мной — хорошо! Довольно! Я вырву ее из сердца навсегда!

Он спустился с горы, постоял у своей машины; представил себе, как она выпроводит его, и будет насмешливо смотреть ему вслед. «Нет, я возьму лодку и проеду мимо; заговорю с ней, посмотрю, что она скажет, и проеду дальше . . . »

Он сел на корму и стал грести одним веслом, глядя перед собой на приближающийся берег. Буря в его душе улеглась, наступила реакция. Он чувствовал усталость, покорность и нежность к прежней Елене. Теперь ее не стало, но она была! Он будет ее любить — ту, что была . . .

Подъезжая, он увидел, что Елена полулежит на шезлонге, на веранде. Он перестал грести, положил весло на колени, глядя на эту одинокую женскую фигуру, в то время как лодка, теряя скорость и описывая легкий поворот, приближалась к берегу. Елена тоже не шевелилась и, видимо, смотрела ему навстречу. Лодка зашуршала днищем по песку и пристала к берегу бортом. Не меняя позы, Борис сидел и смотрел на Елену без желания заговорить с ней или пойти к ней.

Медленно, очень медленно Елена встала с шезлонга и так же медленно, но легко сошла с веранды и подошла к воде. Опершись на сломанный сук повисшего над водой дерева, она изогнулась и наклонилась над Борисом.

— Боишься выходить? — пошутила она, — Боишься перевернуться? Не бойся, здесь мелко, не утонешь. Я тебе подам руку.

И она, действительно, подала ему руку. Борис, все еще сидя, взял ее в обе свои.

— Я боюсь не помешал ли я тебе в чем . . . Может быть, некстати?

— Нет, нет, я рада тебя видеть. Ну иди же, как долго ты будешь сидеть на месте?

Борис выпустил ее руку и встал, перешагнув за борт, вытянул нос лодки на берег. Елена наблюдала за его движениями. Потом снова подала ему руку и повела к дому.

— Пойдем в дом. Здесь становится жарко. — Она подвела его к креслу, придвинула к себе легкий складной стул и села против него так близко, что их колени почти соприкасались.

— Нет, я рада тебя видеть — повторила она свою прежнюю фразу. — Нам нужно поговорить. Давно было нужно . . .

— Ты меня избегала, — пробормотал Борис. — Почему, Лена? Почему?

— Да . . . — ответила она наконец. — Я тебя избегала. Не сердись, Боря. Попробуй меня понять. Ганс перед смертью . . . на секунду сна остановилась. — Ганс перед смертью сказал мне . . . о том разговоре, что вы имели в Бремене . . .

Борис весь напрягся.

— Да. О том, когда ты ему сказал о своей любви ко мне. О, не беспокойся. Ганс показал твоё рыцарство в самом чистом свете. Он не был способен солгать. Ты знаешь каким он был. Ганс, конечно, не знал, что в этом не было необходимости. Я все знала сама. Ты думаешь: она играла со мной, как кошка с мышью? Это неправда. Но сначала скажи мне одно: ты в самом деле любил меня? Все это время?

— Зачем ты спрашиваешь, Лена? Ты знаешь . . .

— И все еще любишь меня?

— О, Лена! . . .

— В таком случае я скажу тебе правду. Беда не в том, что ты любил меня и пытался обратить все это в шутку. Беда в том, что я тоже любила тебя и скрывала это. И обманывала Ганса.

Борис приподнялся в кресле, но Елена не дала ему говорить.

— Подожди, Боря. Дай мне договорить. Я много лет боролась с собой, повторяя Татьянины слова «но я другому отдана» и так далее. Видишь ли, перемена происходила слишком постепенно. Я долго не отдавала себе отчета в том, что я больше не люблю, а только глубоко уважаю и ценю Ганса и привыкла к нему. Когда я поняла, наконец, что обманываю себя и его, я приняла решение. Если бы Ганс был жив, я сейчас, вероятно, была бы с ним в разводе. Вне зависимости от того, как сложились бы наши отношения с тобой. Но Ганс умер. И что же — мы должны были броситься друг другу на шею, словно обрадовавшись его смерти? Боря, Ганс не заслужил, чтобы кто-нибудь был рад его смерти.

— Лена, если бы Ганса можно было воскресить, мы бы оба сделали это — и ты и я. Ты это прекрасно знаешь. Но Ганса воскресить невозможно и нам не приказано лечь с ним в могилу живыми. И поскольку мы живы, кто может от нас требовать, чтобы мы отреклись от всего, к чему нас зовет жизнь?

— Наша совесть, Боря. Наше чувство долга. Боря, живя с Гансом, я научилась уважать долг. Ты думаешь, что ты знал Ганса? Конечно, ты его знал. Но ты не знал о нем одной вещи: что он был **ВСЬ** в том, что ты о нем знал. Понимаешь, что я хочу сказать? Зная человека, вполне естественно предполагаешь, что знаешь его основные качества, но что есть

в нем, — должны быть — и некоторые другие стороны. Об одних знает одна его мать, о других — одна жена, о третьих — только он сам. У Ганса таких других сторон не было. Он был открыт и прямолинеен и всегда, во всем, со всеми на свете один и тот же: с чужими, со мной, с самим собой. Он не знал середины, компромиссов, оттенков красок. Для него было белое белым, а черное черным. Заслуга должна быть награждена, а преступление — наказано. Вот твой долг, вот твое право, вот твой единственный путь, которым следует идти. «Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой применяет оружие без предупреждения». Я слышала эти слова начальника конвоя, когда мой отец, как «враг народа», стоял в строю заключенных, чтобы идти на станцию к эшелону. И для Ганса не было шага вправо или влево. Только прямо.

Елена перевела дыхание. Весь ее покой исчез. Она волновалась и не старалась, как зачастую раньше, скрывать свое волнение. И она продолжала:

— Ты слышал историю его развода с первой женой. Но ты не знаешь, насколько он ее любил. А я знаю. И знаю, насколько она его любила. Когда он вернулся с фронта, они жили и дышали только друг для друга. Только потом он узнал, что она в его отсутствие отступала и вправо, и влево. С человеческой точки зрения это можно понять: год за годом одни бомбежки, смерть над головой, мир рушится вокруг. Но Ганс, узнав о ее изменах, отрезал ее от себя сразу, одним взмахом, вместе с частью своего сердца, приросшего к ней. Для него это было делом долга. Он изумился бы, если бы ему сказали, что можно поступить иначе. Я плакала, когда видела, как она была убита горем. Она была добра и я ее любила. Я чувствовала перед Гансом страх, но и невольное уважение. Я привыкла смотреть на него, как на сверх-человека. Когда, три года спустя, он сделал мне предложение, я с гордостью его приняла и поклялась себе, что никогда не обману его доверия. И после многих лет совместной жизни я вдруг поняла, что я его обманываю. Что по-твоему, я должна была чувствовать?

Борис что-то хотел сказать, но она снова остановила его.

— Боря, ты не знаешь еще одного: что он никогда не переставал любить ее. Он исполнил то, что считал своим долгом, вопреки своему кровоточащему сердцу. Любил ли он меня, несмотря на это? По-своему — да. Конечно, он любил мою внешность, но, видимо, и мою невинность в те мои восемнадцать лет . . . Возможно, он искал во мне свою Элизабет лучшего времени . . .

«Боже правый! — думал Борис, вспоминая рассуждения Ганса об одном единственном идеале. — Ты и не подозреваешь, насколько ты права! Он заменил одну геометрическую фигуру другой — вот и все. Содержание было не важно, важна была форма — молодость, красота, невинность...»

— . . . Прошло, однако, много лет, прежде чем я поняла, как он меня любит, ЧТО он во мне любит; поняла, что я не могу отвечать на его любовь. Я для себя самой — другой мир, сплетенный из многих противоречий . . . И этот мир прямолинейному Гансу был совершенно чужд. В этот мир просился ты, Боря, и я готова была тебе его открыть. Но чувство долга, Боря? В чем был мой долг? В том ли, чтобы открыть ему правду или в том, чтобы сохранить наш брак и не причинять ему боли? Ведь и Ганс, как ни был он честен и прям, не всегда говорил правду: скажем — я знаю, что я пересолила обед, а он ест и не морщится, а потом еще скажет «Danke, Liebling, es hat wundervoll geschmeckt». Поверь мне, я исстрадалась, и, в конце концов, решила, что должна открыть ему правду и разойтись с ним. Но я опоздала! Его больше нет; а с памятью не разведешься.

На этот раз Борис вскочил на ноги.

— Ты галлюцинируешь, Лена! Не хочешь же ты сказать, что ты позволишь тени Ганса из гроба повелевать твоей судьбой!

— В том-то и дело, Боря! Из гроба! Да, из гроба! — воскликнула она, как бы торжествуя. — Сходя в гроб, Ганс распорядился моей судьбой. Но не так, как ты думаешь. Он просил вызвать тебя и ждал тебя, борясь со смертью, стараясь дождаться; он хотел нас обоих видеть при себе. Боясь, что не дожидается, он сказал мне о том разговоре . . . о том, что ты меня любишь. Что он хотел бы знать, умирая, что ты позаботишься обо мне, что ты на мне женишься. «Скажи Борису, что таково мое желание» . . . Да, Боря, Ганс отдает меня тебе. Из гроба! Принимаешь подарок?

Борис ходил кругом по комнате, глядя на пол. Елена пристально следила за ним.

— А-а-а!.. Этого ты не ожидал?!

Борис резко остановился.

— Лена, — сказал он, — ты сказала, что готова была отдать мне твое сердце уже раньше, при жизни Ганса. Это не Ганс отдает мне тебя; ты в душе принадлежала мне уже давно. При чем тут Ганс?

— Ганс здесь при том, что я не сказала ему об этом во-время. Слушай же: я тебе не рассказала еще самого главного. Я сказала ему об этом на его смертном одре. Боря, я убила его этим!

Борис побледнел.

— Лена, ты бредишь! Ганс умер от ран; спасения не было . . . Я говорил с доктором . . .

— И я говорила с доктором. Конечно, он говорил, что спасения не было. Но до этого он говорил, что не нужно терять надежду . . . Но это не все! Накануне отъезда мы устроили прощальную вечеринку вместе с некоторыми новыми друзьями. Обычно Ганс пил умеренно, но тут выпил лишнее. Я знаю почему: он уже догадывался обо всем . . . Вечеринка затянулась до поздней ночи. Мы уснули на два или три часа, и потом Ганс разбудил меня: пора, говорит, уже скоро шесть. Ты можешь спать в дороге . . . Ты знал Ганса: если решено ехать в шесть, то это и было в шесть, а не в пять минут седьмого. Глаза его были мутные, он еще не проспал свой хмель. Почему я его не отговорила? О-о, — мне хотелось домой! Сказать тебе правду? Мне хотелось к тебе! Что мне было до его усталости ! . .

Я видела, что Ганс ведет машину неуверенно. Почему я не сменила его за рулем? Я чувствовала себя свежей . . . Правда, дорога была почти пуста и я не видела причины беспокоиться. Вместо этого, ссылаясь на усталость, я попросила остановить машину и перешла на заднее сиденье — не спать, а закрыть глаза и думать о тебе, о предстоящем разговоре с Гансом . . . Мое решение было принято. За ту неделю, вдали от тебя, я поняла насколько ты мне нужен, насколько я не честна с Гансом. Наверное, если бы я осталась впереди, я была бы сейчас вместе с Гансом . . . Без упреков совести, без боли . . . Но лежа на заднем сиденье, когда последовал удар, я только слетела вниз. Без единой царапины. А Ганс лежал там исковерканный, в луже крови . . . О-о-о ! — простонала она, закрыв лицо руками.

Борис бросился к ней, обнял ее за плечи и она повернулась к нему, глядя ему в лицо глазами полными слез.

— И в госпитале, Боря, когда Ганс с трудом рассказал мне о том, что ты любишь меня, он спросил меня, люблю ли я тебя. А я была слишком потрясена происшедшим. Я была, как во сне. Необдуманно, нечаянно, не сознавая, что я говорю, я сказала — да! И он закрыл глаза и больше ничего не сказал. Я сидела рядом, полумертвая от ужаса, проклиная свое недомыслие и свою нечаянную жестокость, мысленно прося

у него прощения, — вслух я была неспособна заговорить. Я сидела так долго и держала его руку и чувствовала, как его рука холодеет. Я всей душой хотела, чтобы его смерть перешла в меня . . .

Не владея собой, Борис опустился на землю и припал головой к ее коленям. Так они оставались долго. Наконец, она опустила руки, взглянула на него и провела рукой по его щеке.

— Боря, я не исполнила свой долг перед Гансом при его жизни. Я должна остаться верной его памяти . . .

Борис молчал. «Лена, — хотелось ему крикнуть, — твой долг не перед памятью Ганса, а перед твоим собственным сердцем, которым Ганс никогда не мог — и не пытался — полностью овладеть; перед твоей святой, чистой душой, которая ему была не нужна. Ты пожертвовала ему собой! Он имел в тебе все, что нужно: верную жену, — только этой верности он и требовал от тебя! — аккуратную домохозяйку, помощницу в делах, свет и тепло его дома! А ты, с твоей живой душой, кроме «прямолинейности» не имела от него ничего! Я не ревную, но ради Бога, зачем ты себя мучаешь!? Нет, ты напрасно училась чувству долга у Ганса . . . Опомнись, Лена! Я буду ждать, пока ты не позовешь меня . . . »

Вслух же он сказал:

— Лена, мы будем оба хранить память о нем. И ты не оскорбишь его память, подарив мне то, что ему не принадлежало — твою душу. Только верни мне доверие и дружбу, позволь мне быть при тебе — это все, о чем я прошу . . .

Елена не отвечала. Лицо ее было неподвижно, взгляд устремлен мимо него . . . Легкими прикосновениями она ласкала его голову, лежащую на ее коленях.

Монреаль 1967 г.



Элла Боброва

ИРИНА ИСТОМИНА

Отрывки из повести в стихах *).

*

Не спали матери и жены.
Ночь.
Гул мотора . . .
Чей черед?
В стране под маскою закона
шло
беззаконие в поход.
В тумане лжи и подозренья
искал «врага» — народа враг.
Страх
в каждый проникал очаг
и вынуждал к повиновенью.
Он все устои разрушал:
шел брат на Первомайский бал,
чтоб скрыть веселостью притворной,
что в дом беду внес «Ворон Черный»;
и «не узнать» мог, в страхе, вдруг
при встрече
друга близкий друг.

.....

Не может быть!

*) Повесть охватывает период 1937-1950 г.г. («Дома», «На Западе»), будет издана изд-вом «Современник» в конце этого года.

Мы все, не веря,
искали куртку потеплей:
а вдруг . . . тюрьма,
этап и Север?
Рюкзак с запасом сухарей
иметь на всякий случай надо . . .
Мы знали: если ночь прервут,
то уж надолго заберут
и запасались . . .

рафинадом!
А ведь ничтожный тот запас
спасти от смерти мог бы нас
едва ли.

Так на «воле» жили
уже во власти грубой силы
и ждали.

Чуток был наш сон
не приносил забвенья он.

* * *

Бессонный год для героини
правдивой повести моей
был роковым . . .

Меня с Ириной
связала дружба школьных дней;
мы были в классе неразлучны,
а после — вместе шли домой,
хоть я любила быть одной,
но с ней

мне не бывало скучно.
Умела всех развлечь она,
всегда смешных затей полна.
Смеялась и сама нередко
над словом остроумным, метким . . .
Хоть годы разлучили нас,
я слышу смех наш
и сейчас.

Раз в школе . . .

Что же с ней случилось?

Вдруг стала замкнутой, чужой;
подруг как будто сторонилась,
а голос . . . тихий и глухой.
Глаза опухли; и погасли
в них искры смеха.

Много слез,
как видно, за ночь пролилось.
Где мысли Иры?

Нет, не в классе . . .

Спросить? Потом. Нам по пути.
Звонок. Домой пора итти.
Мы молча, как по соглашенью,
избрали парк; и там под сенью
знакомых кленов, наконец,
она открылась мне:

— Отец . . .

Был на заводе арестован
вчера в вечерней смене он . . .
И плача горького такого
еще не слышал старый клен.
Скрывая нас от праздных взглядов,
он слушал и листвою дрожал;
со мной он как бы повторял:
вернется твой отец . . . не надо . . .
ни в чем ведь не повинен он
и где-то

должен быть закон . . .

Но бурей сорвана плотина:
сдержать не может слез Ирина,
из всех бессвязных горьких слов
два —

повторялись вновь и вновь . . .

* * *

За что ? . . .

Глухим катилось стоном
в тот страшный год по всей стране.
За что? и в душах миллионов

вскипали

горечь,

боль

и гнев.

Бурлили тайно: ведь придавлен
свинцовой крышкой был котел.
За что?

И, сломлен, в ссылку шел
герой, что был в боях прославлен
и орденами награжден;
а с ним в этапе шли одним
поэт

и слесарь,

и ученый . . .

Связали их статьей закона,
как скошенную рожь жгутом.
Этап тот

жутким был

снопом.

* * *

Ночь.

Очередь.

Ждет передачи

с узлом Ирина у тюрьмы.
Осунулась. Уже не плачет,
но губы строги и немы.
Устала. Днем почти не ела;
а до утра придется ждать . . .
Вдруг номер не дойдет опять?
(на рукаве — трехзначный мелом)
Глаза смыкаются порой.
Уснуть . . .

Нет, не уйду домой!

Дождусь. Вчера ведь простояла
напрасно. Жаль, нет одеяла . . .
Блуждает мысль:

отец там спит?

Иль в тесной камере сидит
и дремлет ? . .

Так по возвращенье
отец подруги описал

год бесконечный в заключенье . . .
Три года строил он канал
потом на Севере.

Об этом
рассказывал лишь редко он;
иль позабыть, как страшный сон,
пытался, что недавно где-то
среди снежных Севера равнин
был номером «семьсот один».
А вдруг удастся (Ире страшно)
ее отца в такой безгласный,
безликий

номер
превратить ? . . .
Нет, этого не может быть!

.....

Ирина, веря в справедливость,
мечтает

у тюрьмы
о том,
как скоро гордой и счастливой
она домой пойдет с отцом.
Как жалобы других услышит
такой открытый
правый суд;
в тот суд защитники войдут
бесплатные
приказом «свыше» . . .
Мы тайный произвол в судах
все самовластьем
на местах
тогда наивно объясняли:
куда мы только не писали ! . . .
Всегласно нам был дан ответ,
Увы,
спустя десятки лет.

* * *

Н. Косачева

РЕАЛИЗМ В РОМАНЕ ПУШКИНА "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН".

В 20-х годах 19-го столетия, т. е. в то время, когда Пушкин писал «Евгения Онегина», свой роман в стихах, в русской литературе еще уживались три стиля: остатки классического, с его тремя единствами, разделением по жанрам и многими строгими правилами построения произведения; сентиментальный, с его благополучными концами и стилизованными героями; и романтический, с его атмосферой таинственности, недосказанности, с необыкновенными героями-злодеями или героями — воплощениями добродетели. Русская литература, в основном, пробавлялась подражанием литературе французской.

Сам Пушкин до написания «Евгения Онегина» был известен русскому читателю как романтик. В «Евгении Онегине» он впервые выступил как поэт-реалист.

Нужно сказать, что до Пушкина описания в реалистическом стиле уже встречались у Державина, у Фонвизина, у Крылова. Но это были только реалистические штрихи, «искры» реализма, по выражению Берлинского.

Фактически, Пушкин совместил в «Онегине» романтический и реалистический стили. Евгений Онегин и Ольга, реалисты в жизни, описаны в романе реалистично, в то время как Татьяна и Ленский — романтики в повседневном бытии — представлены романтически, средствами романтического стиля.

Пушкин не только соединяет романтизм и реализм, но удерживает кое-что и из стиля классического, т. к., будучи большим художником, он отбирал необходимое и умело соединял это необходимое в гармоническое целое.

Т. к. Пушкин уже был известен публике по своим романтическим поэмам «Кавказский пленник», «Цыганы», «Руслан и Людмила», то, естественно, от него ожидали произведения романтического. Но стиль

«Онегина» оказался настолько новым, что многие современники не поняли его.

Баратынский писал Пушкину: «Я очень люблю обширный план твоего «Онегина», но большее число его не понимают. Ищут романтической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят».

Из письма Пушкина к брату мы узнаем, что Н. Раевский «бранит роман», т. е. «ожидал . . . романтизма, нашел Сатиру и Цинизм и порядочно не расчухал».

Бестужев возмущается выбором темы, считает, что Пушкин размещается на пустыях: стреляет «из пушки . . . в бабочку».

Критики Надеждин и Полевой вообще уверены, что «Онегин» только забавная болтовня».

Более прозорливые современники, наоборот, нашли в романе большие достоинства, оценили в нем правильное изображение современной им жизни. Один из братьев Киреевских писал, что в «Евгении Онегине» показана «жизнь действительная и человек нашего времени с их пустою ничтожностью и прозой».

Друг Пушкина Плетнев считал, что «Евгений Онегин» «будет карманным зеркалом петербургской молодежи».

Однако итоги всему, всем положительным оценкам, подвел Белинский, назвав роман «энциклопедией русской жизни».

Почему же Белинский назвал роман именно так?

Потому что в «Онегине», по его словам, «представлена нравственная физиономия дворянского сословия: описана жизнь русского дворянского общества 20-х г.г. 19-го столетия во всех ее проявлениях, «со всей ее прозой и пошлостью», причем показано это общество в «один из интереснейших моментов его развития» — после 1812 г., когда заграничные походы русской армии познакомили дворянство с заграницей, нанесли удар существовавшим ранее порядкам и пробудили общественное самосознание дворянского класса.

Что Белинский сконцентрировал в своей знаменитой фразе мнение многих, видно хотя бы из письма Баратынского, который был уверен, что в романе «старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях проходит перед . . . глазами».

Т. е. роман правдиво отражает эту жизнь, является ее «карманным зеркалом», — а, как мы знаем, правдивое отражение жизни обозначается термином «реализм», — интересно будет проследить, в чем, собственно, заключается реализм «Евгения Онегина».

* * *

До Пушкина содержание романов, как правило, базировалось на необыкновенной интриге, обычно любовной, непременно с благополучным концом.

В «Евгении Онегине» есть любовная интрига, но не обычная: она построена на двух отказах, на двух «unhappy ends». Страсть остается безответной дважды, а конец романа не сообщает ничего определенного.

Вопреки романтическим условностям, время повествования — современность. И развивается роман не в экзотической обстановке Кавказа (как в «Кавказском пленнике»), не в молдавских степях (как в «Цыганах»), не в сказочной обстановке «Руслана и Людмилы», а в северной России с ее обыкновенным пейзажем. Это явно реалистическая черта.

Атмосфера романа тоже самая обыденная, каждодневная: отсутствует романтическая таинственность, недосказанность.

Образ автора выведен в «Евгении Онегине» по-новому, не так, как было принято в сентиментально-романтической литературе, где автор был центром повествования, где читатель узнавал о нем или из его исповеди, или из «портрета души», представленных в форме дневника, или писем, или признаний.

Автор непринужденно беседует в различных местах романа о себе, о своих увлечениях, о своих слабостях, о поэзии, о любви, о коварстве женщин («В начале жизни мною правил прелестный, хитрый, слабый пол»), о музе, о природе, о вдохновении, о своей судьбе, о своих друзьях,

Которым в дружной встрече
Я строфы первые читал . . .
Иных уж нет, а те далече . . .

(Тут намек на декабристов).

В лирических отступлениях и отдельных замечаниях Пушкиным отражена реальная жизнь, и рассуждения его — мысли умного, очень наблюдательного человека.

Здорово и умудренно говорит Пушкин о людских переживаниях:

Кто жил и мыслил,
Тот не может
В душе не презирать людей . . .

о любовном опыте:

Чем меньше женщину мы любим
Тем легче нравимся мы ей . . .

Любви все возрасты покорны . . .

(изречения, ставшие афоризмами); об эгоизме:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя...

о клевете, о «друзьях», которые

Повторят стократ ошибкой...

любую клевету.

В 8-ой главе Пушкин рассказывает, как развивалось его творчество, какими темами оно вдохновлялось, какое впечатление производили его стихи на публику.

Пушкин пользуется лирическими отступлениями, чтобы сказать об особенностях своих произведений и о значении поэзии вообще. Ведь она дает все,

... что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей...

Он поражается критике, которая повелевает поэтам «петь о другом», иногда говорит о действительных событиях из своей жизни, правда, вскользь. Так, намекая на ссылку, он сообщает:

Но вреден север для меня...

Мечтая о свободе, хочет покинуть родину, чтобы

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России...

Читая и анализируя лирические отступления, мы между строк узнаем о многих событиях, касавшихся поэта или его современников.

* * *

В «Евгении Онегине» Пушкин нарисовал широкое полотно различных слоев дворянского общества и кое-кого из слуг, крестьян и даже ремесленников, т. е. тех, кто непосредственно соприкасался с этим обществом.

Мы видим не только главных и второстепенных действующих лиц, но и эпизодические персонажи, которые появляются на короткое время, хотя, будучи описаны необыкновенно реально, долго живут в памяти читателя.

Начать с того, что, вопреки всем существовавшим в то время нормам и обычаям, Евгений Онегин, герой произведения, — обыкновенный

человек, такой, как многие, а не исключительная личность, не «чудовище порока» или «герой добродетели». С первых же моментов Пушкин говорит о нем в подчеркнута прозаических тонах. Это типичный молодой человек пушкинского времени и пушкинского круга. Он даже показан в окружении личных друзей Пушкина (обедают с Каверины, бывает в тех же ресторанах, которые любил Пушкин, восхищается в театре теми же знаменитостями, которыми восхищался Петербург пушкинского времени. Онегин даже манерой одеваться напоминает знаменитого Чаадаева).

Воспитание Евгения — такое же как у всех: «француз» «учил его всему шутя».

Одежда Евгения — наряд молодого либерала того времени. На нем «панталоны, фрак, жилет» и «широкий болivar». День его — день праздного человека, любого молодого богатого дворянина: он поздно встает, т. е. поздно ложится; гуляет на бульваре, обедают с друзьями, вечером мчит в театр, где собирается «золотая молодежь», затем скачет на бал и, наконец, возвращается домой.

Онегину приданы типичные черты тогдашних т. наз. «лишних людей», самым известным из которых был, пожалуй, уже упомянутый Чаадаев. Фактически, в русской литературе Онегин сделался первым «лишним человеком», предшественником Печорина, Бельтова и Рудина. Он освободил своих крестьян от барщины, перевел их на оброк — правда, не из убеждений, а от скуки. Во всяком случае, поступил так, как поступали в то время сотни молодых либералов.

Но, как каждый «лишний человек», Онегин не способен к усидчивым занятиям, к труду:

... но труд упорный
Ему был тошен;

..... преданный безделью,
томясь душевной пустотой,

он берется за многое, но ничего не доводит до конца. Поэтому Онегин,

Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

Онегин похож не только на петербургскую молодежь вообще: некоторые черты его — черты самого Пушкина. В манере Евгения встречать гостей Пушкин описал самого себя:

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышит их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,
Все прекратили дружбу с ним.

В письме к П. А. Вяземскому Пушкин жаловался, что «глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне «Онегина» я изобразил свою жизнь»:

В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе вышивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался

Между прочим, в рукописи было следующее описание наряда Евгения:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку
И шапку с белым козырьком . . .

А из сохранившихся донесений секретного агента, наблюдавшего за Пушкиным в ссылке, мы знаем, что Пушкин «на ярманке Святогорского Успенского монастыря . . . был в рубашке, подпоясан розовою лентою...»

Не одобряя тему «Онегина», Бестужев возмущался также тем, что Онегин представлен не в «поэтических формах», а так, «что я вижу франта, который душой и телом предан моде — вижу человека, которых тысячи встречаю на яву» . . . Сам того не ведая, Бестужев отметил именно реализм в образе Евгения.

Татьяна тоже типичный характер своего времени. Несмотря на то, что она романтически настроенная провинциальная барышня, описанная Пушкиным на фоне народных преданий, народных песен, снов, она представлена так правдиво, так реально, что с момента своего появления в литературе сделалась любимой героиней русского читателя.

До Пушкина русские писатели почти никогда не называли своих героинь простыми русскими именами, а выбирали для них звучные и чуждые русскому уху имена из классического репертуара. Из русских

имен самым распространенным было, пожалуй, имя Софья (как, например, в «Недоросле» Фонвизина, в «Горе от ума» Грибоедова и др.).

Свою героиню, прелестную русскую девушку, Пушкин называет простонародным именем Татьяна, прекрасно отдавая себе отчет, что

Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.

Пушкин знает, что, несмотря на то, что имя «Татьяна» «приятно» и «звучно»,

..... с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей!

Очевидно, Пушкин делает этот шаг сознательно, т. к. хочет приблизить героиню к жизни.

Снова отступая от правил романтизма, которые требовали от героини ходячно-привлекательной внешности, Пушкин не наделяет Татьяну необыкновенной наружностью. Наоборот,

Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.

Татьяна и типична и индивидуальна в одно и то же время. С одной стороны, она не похожа на своих подруг: у нее диковатый характер, она любит одиночество, книги. Отсюда — ее романтический склад ума и характера.

С другой стороны, она воспитана как многие провинциальные барышни: чтение французских романов, пренебрежение к русским книгам, неумение правильно писать по-русски и в то же время общение с дворянами, (в частности, с няней), любовь к русским обычаям, к русской природе, к «преданьям простонародной старины».

Татьяна, как многие русские девушки, верит в гаданье, в сны, в приметы: когда

Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл,
То несомненный знак ей был,
Что едут гости

когда

..... быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей, —
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

Татьяна была изображена настолько реально, что современники Пушкина считали ее прототипом не одно определенное лицо, а многих дам общества.

Во времена Пушкина многие молодые дворяне учились в немецких университетах. Они возвращались домой, проникнутые идеями немецкой идеалистической философии Канта, под влиянием немецких романтиков Шиллера и Гете.

Ленский — один из таких молодых людей. Считают, что характер его списан с друга Пушкина — Кюхельбекера, обидчивого, вспыльчивого идеалиста-романтика. Ленский тоже идеалист, простодушный и увлекающийся; тоже романтик с пылкой и восторженной душой, которую он изливает в романтических стихах. Он рано умирает.

Однако Пушкин, реально представляя себе его жизнь, оставил Ленский жив, предсказывал ему два возможных пути: очень может быть, Ленский вырос бы в крупного поэта, его ждала бы слава или «высокая ступень» в свете, но было возможно и другое: что

..... поэта
Обыкновенный ждал удел

т. е. Ленский мог бы перестать заниматься поэзией, женился бы, обрел семью, «пил, ел, скучал, толстел, хирел», носил бы «стеганный халат» и умер бы, как самый обыкновенный русский помещик, в окружении семьи, «плаксивых баб» и «лекарей».

Все поведение Ленского — типичное поведение романтика.

Описывая младшую сестру, Ольгу, Пушкин нарисовал ее портрет в принятом тогда романтическом стиле:

Глаза как небо голубые,
Улыбка, локоны льняные

но тут же оговаривается:

Все в Ольге . . . но любой роман
Возьмите и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил.
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно . . .

и продолжает описывать Ольгу уже в реалистическом стиле. Ольга живая, бесхитростная. Потеряв жениха, она погоревала немного, но скоро утшилась и вышла замуж. Это жизненно, реально.

А вот старики Ларины. Мать воспитана на романах. Вышла замуж не по любви, а как было принято, по желанию родителей. Из нежной бары-

шни она довольно скоро превратилась в барыню-хозяйку. Если раньше она «писывала кровью» в альбомы подругам, носила тесный корсет и «звала Полиною Прасковью», то после замужества все повернулось вспять: она

..... Стала звать
Акулькой прежнюю Селину,
И обновила, наконец,
На вате шафор и чепец.

А вот старик Ларин, «простой и добрый барин», который никогда ничего не читал, «в халате ел и пил» . . .

Таких помещиков как Ларины было множество. Ларины и их дети — это обыкновенная русская семья, у которой

К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор . . .

Они продолжают жить по-старинке: любят блины, качели, песни, хоровод, дважды в год говеют, не могут и дня прожить без кваса («им квас как воздух был потребен») и за столом их гостей обносят яствами «по чинам» — типичнейшая картина помещичьей жизни. Достаточно прочесть хотя бы «Семейную хронику» Аксакова или воспоминания Водозовой, чтобы убедиться в этом.

Соседи-помещики описаны не так подробно, но из коротких фраз, иногда из одного единственного эпитета, вырисовывается выразительный общий портрет помещичьего общества. Тут и «толстый Пустяков» со своей «супругою дородной», Гвоздин, «хозяин превосходный», но — тонкая ирония — «владелец «нищих мужиков», Скотинины, «уездный франтик Петушков, «двоюродный брат» Пушкина Буянов *), наконец, Флянов — «тяжелый спетник, старый плут, обжора, взяточник и шут».

Обособляком стоит Зарецкий, прототип гоголевского Ноздрева,

..... некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой,
Отец семейства холостой . . .

Зарецкий умеет

*) Пушкин называет Буянова «двоюродным братом» потому, что он был героем поэмы, написанной дядей А. Пушкина, Василием Львовичем.

Порой расчётливо повадорить,
Друзей поссорить молодых,
И на барьер поставить их

или «обесславить» кого-либо «веселой шуткою, враньем» и в нем без труда узнавали многие черты Толстого — американца.

Высший свет обрисован различно: с одной стороны, чувствуется, что Пушкин любит очаровательных женщин, любит бывать на балах, любит их

... тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд...

тс балы, где

Невест обширный полукруг
Все чувства поражает вдруг...

с другой стороны, Пушкину претит высший свет с его холодностью, ложью и глупостью. Описание великосветского раута великолепно. Перед читателем проходит

..... цвет столицы
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лица,
Необходимые глупцы.

За этим общим описанием следуют убийственно-меткие характеристики отдельных гостей: тут

... посланник, говоривший
О государственных делах...

тут же

..... в душистых сединах
Старик, по-старому шутливый:
Отменно тонко и умно...

тут «на все сердитый господин», негодующий и на слишком сладкий чай, и на тон мужчин, и «на ложь журналов». и на снег, и на собственную жену.

Среди гостей находится человек, заслуживший известность «низостью души»; «диктатор бальный», похожий на картинку из журнала; проезжий путешественник — «перекрахмаленный нахал».

Время от времени в романе мелькают образы слуг, начиная с няни (описанной, между прочим, с няни Пушкина Арины Родионовны) и кончая лакеями, спящими на шубах своих господ; еучеров, которые

..... вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони

старика-калмыка, который встречает гостей

В очках, в изорванном кафтане,
С чужком в руке...

Иногда мы видим дворового мальчишка, который, посадив свою собаку в санки, бегаёт по двору. Собственно, не собаку, а «жучку», по выражению Пушкина, — как реально, как метко найден образ.

Зарисовкой с натуры представляется описание утреннего Петербурга:

Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охотенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.

* * *

Пушкин не удовольствовался тем, что описал в своем романе дворянское общество, представленное литературными, т. е. вымышленными, персонажами. Он ввел в ткань романа своих действительно существовавших современников, что, естественно, усилило реальность содержания.

Так Онегина в ресторане ожидает Каверин, офицер лейб-гусарского полка и друг Пушкина. Ленский читает свои стихи

... вслух, в лирическом жару,
Как пьяный Дельвиг на пиру.

Часто Пушкин упоминает то об одном, то о другом своем знакомом: дважды он обращается к Баратынскому, «певцу пиров и грусти томной», вспоминает о «чудотворной кисти Толстого» (известного художника-иллюстратора того времени), замечает, что элегии Ленского «текут рекой», как у «вдохновенного Языкова». Описывая первый снег, Пушкин напоминает нам, что

Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег

(т. е. П. А. Вяземский в стихотворении «Первый снег»).

Тот же Вяземский подсаживается к Татьяне на балу:

У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел...

В главе «Путешествие», описывая Тавриду (т. е. Крым), Пушкин вспоминает, что там

... пел Мицкевич вдохновенный

Наконец, когда Пушкин вставляет французское словцо в текст романа, он озорно обращается к адмиралу Шишкову, суровому блюстителю чистоты русского языка:

... Шишков, прости,
Не знаю как перевести.

В театре, где танцует Истомина, хореографом знаменитый Дидло. Там же на подмостках подвизается «младая Семенова», знаменитая трагическая актриса того времени.

Все эти имена живых людей, непосредственные обращения к ним, создают необычайно реальную атмосферу.

* * *

На протяжении всего романа Пушкин очень много говорит о литературе. Это рассуждения о его собственном творчестве, о поэзии вообще, обзор (иногда в нескольких словах, иногда в целых строфах) предшествовавшей ему и современной литературы, определение существовавших в то время стилей.

О классицизме Пушкин почти не упоминает, но вдруг спохватывается и в конце 7-ой главы пародирует вступление (необходимое для всякого классического произведения), после чего с облегчением восклицает:

Довольно! С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленья есть.

Сентиментализм охарактеризован так:

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.

.....
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

Тут же мы узнаем, что, напротив, романтизму

Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.

Ленский — романтик. Поэтому он «поет любовь», «разлуку и даль», а также неотделимые от романтизма «нечто» и «туманную даль», причем Ленский

... в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства

Характерно для романтика, Ленский воспевает

... поблеклый жизни цвет
Без малого в восемнадцать лет.

А в общем-то Ленский пишет «темно и вяло» («что романтизмом мы зовем», — поясняет Пушкин).

Чтобы иметь представление о ширине пушкинского кругозора, интересно привести некоторые его строки, относящиеся к литературе: тут и Овидий Назон, который воспел «науку страсти нежной»; Фонвизин, «друг свободы, сатиры смелый властелин»; и «переимчивый Княжнин»; и драматург Озеров. Тут Катенин, который «воскресил Корнеля гений величавый» (т. е. перевел его на русский язык); тут «колкий Шаховской», «Языков вдохновенный», Руссо и Грим, Ричардсон. Упоминается Торквато Тассо, его «октавы», язык Петрарки. Много говорится о Байроне — «певце Гяура и Жуана», «певце Гюльнары». Приводятся эпитафии из Горация, Вяземского, Мальфилатра, Неккера и других. Упоминаются Шиллер и Гете, «нежный Парни», Прадт — французский политический писатель, Вальтер Скотт, Вергилий, Расин, Сенека, Мартын Задека («глава халдейских мудрецов, гадатель толкователь спов»), французский писатель Мармонтель, Гомер, Апулей, Цицерон, Дмитриев, Карамзин, итальянский поэт Манзони, Фонтенель, Саади, современный Пушкину поэт Туманский, «строгий критик» Кюхельбекер.

Названы герои популярных в то время произведений: Чайльд Гарольд, Светлана, Вертер, Вампир (Полудори), Мельмот (Матюрена), Корсар, Сбогар (Нодье), Мальвина (Котень), Буянов, Ленора, Чацкий, «любовник Юлии» Вольмар, Малек-Адель, Де-Линар (бар. Крюднер).

Говорится об экономистах Адаме Смите и Сее, о юристе Бентаме, о философе Канте, историке Гиббоне, философе Гердере, публицисте Шамфоре, Мадам де Сталь, о Бинна и Тиссо — французских хирургах.

* * *

Реализм Пушкина проявляется не только в описаниях действующих лиц, вымышленных и настоящих, но и в описаниях бытовых деталей. Что бы это ни было: кабинет дяди, кабинет Евгения в Петербурге, в котором было все, «чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетиль-

ный», или его же кабинет в деревне, где каждый предмет — «кий на бильярде», хлыстик «на смятом канале», «груда книг» и «лорда Байрона портрет» — натурален, — каждая бытовая деталь естественна и реалистична. Цитировать эти места решительно невозможно: пришлось бы привести не менее трети романа.

Пушкин первый дерзнул описать природу с такими бытовыми подробностями, что его описания похожи на жанровую живопись.

Взять хотя бы картину зимы в 5-ой главе, когда «крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». Читатель видит «бразды пушистые», оставленные в снегу пролетающей кибиткой.

Ямщик сидит на облучке,
В тулупе, в красном кушаке

Рядом играет с салазками мальчик. Это было вызовом обществу, это было неслыханно — писать в стихах о столь низменных предметах, как «ямщик», как его «кушак».

Пушкин знал, что его будут критиковать за это и поспешил огорчиться:

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.

И Пушкина критиковали. Часто зло и несправедливо. Например, когда Татьяна забрела в имение Онегина,

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий...

Какое поэтическое описание с нашей точки зрения! А вот как откликнулся на него Булгарин в своей «Северной пчеле»: во-первых, он нашел, что «ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения!», а что касается приведенного ниже описания вечера, то: «Вот является новое действующее лицо на сцену: жук! Мы расскажем читателю о его подвигах, когда дочитаемся до этого. Может быть хоть он обнаружит какой-нибудь характер».

В главе «Путешествие» Пушкин говорит о том, какая природа мила теперь его сердцу: его не привлекают больше ни «пустыни», ни «свои

края жемчужины», ни «груды скал» с «гордыми девами», которые ему казались необходимыми для творчества в период увлечения романтизмом. «Иные мне нужны картины». — говорит Пушкин, —

Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых . . .

«Пушкину не нужно было ездить в Италию за картинами прекрасной природы — пишет Белинский, — прекрасная природа была у него под рукою здесь, на Руси, на ее плоских и однообразных степях, под ее вечно серым небом, в ее печальных деревьях и ее богатых и бедных городах. Что для прежних поэтов было низко, то для Пушкина было благородно; что для них была проза, то для него была поэзия».

Глава «Путешествие Онегина» — это своеобразная география России, вносящая повседневную реальность в роман. Чего мы тут только не встречаем! Вот макарьевская ярмарка, известная на всю Россию, с поддельными винами, бракованными конями, колодами карт и «услужливыми костями». Один меткий эпитет — «услужливые» кости — и возникает образ.

Через Астрахань Пушкин попадает на Кавказ. У целебного источника толпится «бледный рой» больных:

Кто жертва чести боевой,
Кто почечуя, кто Киприды . . .

Звучит, как будто, возвышенно, в стиле классицизма: употреблено греческое слово «Киприда». Но из словаря мы узнаем, что «почечуй» — это геморрой, а Киприда, как известно, одно из имен богини любви Венеры. Сиречь, «жертва Венеры». Это ли не реально?

Далее следуют описания Крыма: долин, деревьев, сел, — и наиболее реалистическое описание Одессы, какое только можно себе представить.

Нужно сказать, что незадолго до этого Одессу воспел современный Пушкину поэт Туманский. Но Пушкину кажется, что Туманский «пристрастными глазами в то время на нее взирал» и поэтому «очаровательным пером сады одесские прославил». Хотя, — замечает Пушкин, —

..... дело в том,
Что степь нагая там кругом,

т. е. Пушкин не собирается прикрашивать неприглядные окрестности Одессы. Никто не осмелился бы до Пушкина писать об утопающей в

грязи Одессе, «Одессе пыльной», «Одессе грязной», т. к. это была бы «низкая природа». А Пушкин не побоялся вложить в поэтические стихи самую непривлекательную действительность:

В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.

Говорит Пушкин и о такой, казалось бы, неподходящей для стихов бытовой детали, как отсутствие воды в Одессе:

... Еще есть недостаток важный;
Чего б вы думали? — воды.

В романе встречается несколько замечательных описаний городов, упоминаний об улицах и переулках, настолько точных, что их можно было бы вставить в учебники географии.

Вот хотя бы картина петербургской улицы около барского дома, где дается бал:

Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят...

А вот Ларины приехали в «белокаменную», где

Как жар крестами золотыми
Горят старинные главы.

Пушкин припоминает свое впечатление от Москвы, когда

... церковей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг

внезапно «открылся» перед ним, вспоминает, как в петровском замке Наполеон ждал ключей от Москвы, и исторически точно передает это событие:

Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

Возок с Татьяной несется через заставу, по Тверской,

..... через ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Даже такая деталь, как «львы на воротах», исторически верна: на Тверской улице действительно стоял Английский клуб (теперь Музей революции) со львами на воротах.

Тетка Татьяны живет «у Харитонья в переулке», т. е. в переулке около церкви св. Харитонья, а гвардейский сержант, которым в молодости увлеклась мать Татьяны, живет «в Москве, у Симеона», т. е. тоже вблизи церкви св. Симеона.

Вот такне-то, списанные с природы, детали делают роман очень реалистичным.

* * *

Как мы уже говорили выше, роман недаром был назван «энциклопедией русской жизни»: в тексте его рассыпано множество различных, кратких и более пространных, описаний на самые разнообразные темы.

Тут и картина больного дяди, за которым нужно ухаживать, «полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство», и его жизни в деревне; сценки из жизни Лариных и их соседей — хотя бы та, в которой описывается «обычай древний» сватанья «барышень»: как только Ленский появляется у соседей,

..... тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: "Дуня, примечай!"

Прелестная поэтическая картинка: описание альбома уездной барышни, в котором

Неприменно вы найдете
Два сердца, факел и цветки...

Зато хотя, альбомы «блистательной дамы» — «мученье модных рифмачей» — украшены «Толстого кистью чудотворной» или «Баратынского пером», Пушкин их не любит, т. к. в них «станут важно разбирать, остро иль нет я мог соврать».

С юмором упоминает Пушкин в другом эпизоде о старинном русском обычае спрашивать имя у прохожего, которое, якобы, будет именем суженого.

Забавна и трогательна сценка, когда Татьяна пытается разгадать свой сон по «Соннику» Задеки.

Зарисовка именинного стола напоминает знаменитые реалистические описания яств Державина («жирный был пирог, к несчастью пересоленный»).

Современный читатель, знающий о дуэлях очень мало, из пушкинских стихов почерпнет мельчайшие подробности отжившего обычая, такие, например, что секундант должен отмерить расстояние, что врагов разведут «на крайний след», что потом им скамандуют: «теперь сходитесь», после чего они начнут «тихо подымать» свои пистолеты, «жмурия левый глаз», и целиться . . .

А разве не списана с природы сцена отъезда Лариных в Москву, когда

..... три кибитки
Везут домашние пожитки
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перьяны, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera;
Ну, много всякого добра.

Тут интересно вспомнить о реакции запрятого врага Пушкина, Булгарина, который в одной из своих статей писал: «Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии и чтоб картина горшков и кастрюль et cetera была так приманчива».

Но, как уже упоминал Белинский, реализм Пушкина и заключается в том, что для него не существует «низких» предметов. Так мы восхищаемся описанием русских дорог и станций («Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют, / На станциях клопы да блохи / Заснуть минуты не дают»). Но это же описание возмущает Булгарина: «. . . Больно и жалко, но должен сказать правду. Мы видели с радостью подоблачный полет певца Руслана и Людмилы и теперь с сожалением видим печальный поход его Онегина, тихим шагом, по большой дороге нашей Словесности».

* * *

Наконец, язык «Онегина» — язык того времени. Каждый персонаж романа говорит естественно, в присущем его классу стиле. Сам автор, речь которого является канвой всего романа, говорит живым литературным языком своего времени, т. е. смешивая все стили (русский литературный язык установился позже, в 30-м годах). У Пушкина встречаются старославянизмы, французские и латинские выражения. Смело введены слова «низкого стиля» (публика сморщается, «кашляет», советник Флянов — «обжора»).

Эпитеты и сравнения метки и не шаблонны («Луна — «небесная лампада»).

* * *

Да, Пушкин, соединив в своем романе романтизм и реализм, создал первый в русской литературе реалистический роман, открыл «действительный русский мир».

И мы, отдаленные от Пушкина ста тридцатью годами, не перестаем быть бесконечно благодарными ему за картины русской жизни, которые, сменяясь, одна лучше другой, знакомят нас с жизнью его времени.

Н. Косачева .



А. С. ПУШКИН И Е. А. КАРАМЗИНА

(Литературный этюд)

Мглистые сумерки завладели улицами Санкт-Петербурга, и Петр на коне казался летящим в воздухе. Цоколь памятника уже поглотила, съела мгла.

Свет из освещенных комнат дома Сергея Львовича Пушкина падал на улицу и быстро растворялся в сумерках.

В кабинете хозяина дома для очередного литературного чтения собрались В. А. Жуковский, дядюшка Василий Львович и другие.

Николай Михайлович Карамзин обещал прочитать отрывки из недавно им написанной «Истории Государства Российского».

В этот раз он приехал в город Петра со своей второй женой — молодой и красивой Екатериной Андреевной Колывановой. Эта фамилия маскировала далекий прех старого князя Вяземского. Екатерина Андреевна была его родной дочерью — сестрой поэта Петра Вяземского. Она родилась в Ревеле — Ревель звался по-русски Колыванью, отсюда и ее фамилия — Колыванова.

В своих злоязычных записках Вигель, покоренный красотой молодой Карамзиной так описал ее: «Она была бела, холодна, прекрасна, как статуя древности. Если бы в голосе язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости».

Но вернемся в кабинет Сергея Львовича.

Утонув в подушках дивана, в ленивой позе избалованного судьбою человека, сидел Жуковский. Василий Львович по обыкновению беспокойно ерзал на стуле. Сергей Львович по-

местился в отдалении у фортепиано в вольтеровском глубоком кресле. На него падала тень от зеленого абажура. Он играл своим лорнетом, то медленно раскрывая, то закрывая его. Его пятилетний сын Александр притаился в уголке дивана. Он бросал быстрые, косые взгляды на мать, Надежду Осиповну: его могли отправить спать, а он любил слушать.

Но когда началось чтение, ребенок забыл все и не спускал загоревшихся глаз с Карамзина. Он видел только озяренное свечами худое лицо Николая Михайловича и его бледный лоб с нависшими космами полуседых волос.

Карамзин читал глухим, немного осипшим голосом — еще не прошла недавняя простуда. Иногда он приостанавливался, перебирал листы рукописи и снова принимался читать. Слушатели видели и слышали, как с гиканьем и визгом на низкорослых лошадях летели татары, как пели в воздухе стрелы и умирали воины на рубежах своей земли.

Глава закончилась, Карамзин умолк и обвел всех лучистым взглядом серых глаз. Румянец воодушевления сошел с его лица. Екатерина Андреевна подошла к нему и ласково обвязала его шею шелковым шарфом.

Так впервые Пушкин увидел Екатерину Андреевну, но тогда ее заслонили картины исторического прошлого, воссозданные в «Истории Государства Российского», заслонила импозантная фигура поэта-историка.

Проходят годы. Пушкин учится в лицее. Ему 17 лет. Хотя он еще юн, на него уже смотрят, как на будущую литературную силу. Литературные друзья отца и дяди привлекают его к участию в литературном обществе «Арзамас». Среди приглашавших Пушкина был и Н. М. Карамзин. В журнале «Вестник Европы» за 1814 год появилось и первое стихотворение юного поэта — «Другу-стихотворцу».

Естественно, что когда Карамзины переехали жить в Царское Село, молодой Пушкин получил приглашение бывать у них. Ведь тут же находился и лицей.

Екатерина Андреевна в это время цвела красотой женщины бальзаковского возраста — ей было 36 лет. Она могла привлекать и привязывать к себе людей. Это была сердечная, умная и образованная женщина.

Страстный и увлекающийся Пушкин влюбился в Карамзину и послал ей письмо — он умолял ее прийти на свидание с ним. Екатерина Андреевна показала письмо мужу, и супруги

решили отрезвить юношу. Они вызвали Пушкина и жестоко отчитали его. Роль моралиста взял на себя Николай Михайлович.

Юрий Тынянов — ныне покойный историк и теоретик русской литературы, написал большой роман «Пушкин». Крупный исследователь биографии и поэзии А. Пушкина, он, работая над третьей частью своего романа, заново пересмотрел вопрос о взаимоотношениях поэта и Карамзиной. В результате этого изучения появилась статья «Безымянная любовь».

Основная мысль статьи Тынянова та, что вечно горевший, многократно увлекавшийся писатель, имевший длинный дон-жуанский список, тоже имел свою Беатриче, его сердце тоже было охвачено чистым, ровным, негаснущим пламенем. Этим подлинным гением чистой красоты явилась для него Е. А. Карамзина. Ее имя он зашифровал — N. N.

Если позднейшее чувство Пушкина к Анне Петровне Керн началось высоко и обогатило русскую лирику таким шедевром, как «Я помню чудное мгновенье», но закончилось плоской, банальной связью, то, наоборот, юношеское увлечение Екатериной Андреевной, несмотря на поражение и разгром, перешло в высокий платонизм чувства.

Ю. Н. Тынянов так изобразил в своем романе сцену между Карамзинными и Пушкиным.

«Он... до сих пор нелепо держал в пальцах... записку, как будто онемел и не понимал, что это такое. Тут она засмеялась — это действительно было смешно. Он опомнился, посмотрел на этот листок и скомкал. Наконец, он поднял голову и посмотрел на нее с удивлением. Но она смеялась все громче.

И тогда он понял, что его любовь, надежда, все его стихи, жизнь, — все, что он о ней думал, будущее — все осмеяно, ничего нет, ничего не будет. Она смеялась над ним все громче. И, совершенно неожиданно для себя, он заплакал, неудержимо, без слов, держа в руке сложенную записку. Так не плакал он и ребенком. Он плакал, и слезы не струились, не текли, а прыгали у него, и темно-зеленая кожаная ручка дивана через минуту блестела, как омытая дождем.

Николай Михайлович тихо удалился...

Пушкин поднялся, выпустил наконец из руки записку-комочек и убежал...»

Ясно, что это только художественная реконструкция. Из

отдельных черточек, разбросанных в мемуарах и других материалах, Тынянов создал цельную картину.

Пушкин усвоил данный ему урок, внешне он изменил свое поведение, но в глубине души сохранил свое прежнее, но углубившееся чувство.

Дружеские отношения, не без колебаний, сохранились и с Н. М. Карамзиным. Карамзин всегда был джентльменом. Когда А. С. Пушкину грозила ссылка, он вместе с Жуковским хлопотал за поэта.

В свою очередь и Пушкин посвятил своего «Бориса Годунова» — «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина».

Снова постоянным гостем в карамзинском доме писатель стал уже после смерти Николая Михайловича, после своего возвращения из михайловской ссылки. К 1827 году относятся его стихотворения: «В степи мирской, печальной и безбрежной...», вписанное в альбом Софьи Николаевны (это падчерица Е. А., дочь от первого брака Карамзина), и «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной» (это первый ребенок Е. А. от брака с Карамзиным).

Сперва А. С. Пушкин бывает в этой семье один, а с 1831 года — со своей женой Натальей Николаевной, а потом и с ее сестрами.

Можно думать, что нежное чувство к поэту затаила в своем сердце и Екатерина Андреевна. Это прорывается в ее письме к Пушкину. Это ответ на известие о его женитьбе на Гончаровой. Я позволю себе привести это многоговорящее письмо почти полностью. Это немногое, что сохранилось от переписки Карамзиной с Пушкиным.

Письмо от 3 марта 1831 года из С. Петербурга написано на французском языке — я даю в русском переводе.

«Задолго до получения вашего письма, дорогой Пушкин, я уже поручила Вяземскому поздравить вас с вашим счастьем и выразить вам мои пожелания, чтобы оно оказалось столь прочным и полным, насколько это вообще возможно в нашем мире.

Я очень признательна вам за то, что вы вспомнили обо мне в первые дни вашего счастья, это истинное доказательство дружбы.

Я повторяю свои пожелания, вернее сказать надежду, чтобы ваша жизнь стала столь же радостной и спокойной, на-

сколько до сих пор она была бурной и мрачной, чтобы нежный и прекрасный друг, которого вы себе выбрали, оказался вашим ангелом-хранителем, чтобы ваше сердце, всегда такое доброе, очистилось под влиянием вашей молодой супруги... Не сомневайтесь в искренности этих пожеланий, как вы не сомневаетесь в дружбе, внушившей их той, которая на всю жизнь останется преданной вам Е. Карамзиной.

Я прошу вас выразить госпоже Пушкиной мою благодарность за любезную приписку и сказать ей, что я с чувством принимаю ее нежную дружбу и заверяю ее в том, что, несмотря на мою холодную и строгую внешность, она всегда найдет во мне сердце, готовое ее любить, особенно, если она упрочит счастье своего мужа.

Дочери мои, как вы легко можете себе представить, нетерпеливо ждут знакомства с прекрасной Натали».

Как много в этом письме «душевного жара», чуткости, понимания характера Пушкина, заботы о нем, желания счастья бурному гению, несчастливому, как все гении.

Да это и неудивительно — Е. А. Карамзина была незаурядной женщиной.

Дом Карамзиных был одним из центров русской культуры — это было и при жизни Н. М. Карамзина, и после его смерти в 1826 году — в 30-40-х годах 19-го столетия.

Вот отзывы современников.

«Все, что было известного и талантливое в столице, каждый вечер собиралось у Карамзиных», — пишет один.

Другой сообщает: «Глинка, Брюлов, Даргомыжский — словом все, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высоко-эстетический дом».

«Там выдавались «дипломы» на литературные таланты», — отмечает третий.

В доме Карамзиных — в их гостиной — бывали писатели, поэты, музыканты, ученые, вельможи, великосветские красавицы, дипломаты, гусарские поручики, с которыми Софья Карамзина танцевала на придворных балах.

Дочь поэта Ф. Тютчева вспоминала: «Здесь всегда можно было узнать самые последние политические новости, услышать интересное обсуждение вопроса дня или только что появившейся книги; отсюда люди уходили освеженные, отдохнувшие и оживленные».

Это был единственный великосветский литературный салон, где, в отличие от других светских домов, не играли в карты, не сплетничали, а обменивались мыслями и признавали русскую речь.

Это было каждый вечер, который затягивался иногда до четырех часов утра.

Хозяйкой салона была Екатерина Андреевна. Но душою, главным действующим лицом и самой занимательной собеседницей — Софья Николаевна, дочь Карамзина от первого брака с Е. Протасовой, владевшая даром легкого, свободного разговора.

Впрочем, почему бы нам не пройти на Михайловскую площадь, где живут Карамзины? Их дом — рядом с только что отстроенным Михайловским театром, квартира в третьем этаже.

Уже наступил вечер и можно зайти — они ежедневно принимают по вечерам. Хозяева милые и гостеприимные люди. Им нравятся все причастные к литературе.

Лестница. Входная дверь. Мы в квартире.

Отодвинем портьеру и войдем в большую гостиную. Убранство самое незатейливое: большие кресла, обитые красным шерстяным штофом, сильно выцветшим от времени, красная оттоманка, легкие соломенные стулья. Большая лампа на столе и два стеновых кенкета в противоположных концах комнаты. На окнах спущены шторы. Семейная обстановка — гости за овальным чайным столом. Весело и непринужденно проходит очередное чаепитие.

Угощение — крепкий чай с очень густыми сливками и тонкие тартинки из хлеба со свежим маслом.

Хочет Софи, разливая чай, — недаром ее прозвали «Самовар-паша». От природы она смешлива, и позже о ней Лермонтов напишет:

«Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи».

Дурачится ее сводный брат Александр. Сидит оживленная Екатерина, которой Пушкин написал:

«Так посвящаю с умилением
Простой, увядший мой венец
Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес».

Это «вторая» Екатерина — дочь Екатерины Андреевны.

В гостях князь Петр — так называют молодого Вяземского — склонный к язвительному остроумию, и тишайший, благодушный Жуковский.

Каламбурит блестящий кавалергард Жорж Дантес и влюбленно смотрит на него Екатерина Гончарова. Глубоко задумался Пушкин — его мучит многое: Натали, отсутствие денег, нападки критики, трудности с цензурой, судьба журнала «Современник». Он в предчувствиях большой беды.

Действительно — фатальный январь 1837 года был не за горами.

И он пришел, этот январь — с метелями, морозом, снегом. Прогревели выстрелы дуэльных пистолетов. Истекающего кровью Пушкина в карете барона Геккера отвозят домой.

Старый, поседевший камердинер Никита бережно вносит своего барина в его кабинет, где на диване среди книжных полок кончится жизнь писателя.

Чувство невыносимой тоски, обычное при воспалении брюшины, не проходит.

Все лечение сводится почти исключительно к холодным компрессам и опиуму. Умирание длится почти двое суток.

После нестерпимо мучительной ночи Пушкин утром 26-го января простился с женою и детьми, пожал руки Жуковскому,

Вяземскому, Виельгорскому и пожелал проститься с Екатериной Андреевной Карамзиной.

Ее в это время не было. За ней поехали и привезли ее через несколько минут.

В письме к любимому сыну Андрею — суббота, 30 января 1837 года, Петербург — она описала это последнее свое свидание с Пушкиным.

Письмо написано по-русски — только на родном языке могла Екатерина Андреевна выразить всю силу своей скорби.

«Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа — тоскою и горестью; закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! . . . » .

« . . . я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал . . . Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я уходя осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош . . . »

На другой день Пушкин умер.

От многих его страстей остался лишь пепел. От этой любви молчаливой, затаенной осталось сияние. Оно вспыхнуло в юности и проводило поэта в иной мир — мир без печали и вздыхания.

Вадим Тургаяев .



КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТА .

(Наброски)

В гостинной ожидали приезда деда. Он вошел желтый, сморщенный, со слезящимися в красных прожилках глазами.

Деда Аннибала в семье Пушкиных не любили.

— Где внук-ат ? . . Как наречен? — резко спросил он.

Когда узнал, что наречен Александром в честь деда, лицо его прояснилось.

Бабушка Марья Алексеевна поднялась с ним по шаткой лестнице на антресоль. Тут пыль и беспорядок. Няня Арина, низко кланяясь, бросилась обметать пыль с комода. Ни на кого не глядя, дед направился к колыбели. Он долго смотрел на маленькое, сморщенное лицо внука, потом поднял его и понес к свету. И вдруг зажегся: «Аннибал . . . арапченок» . . . и поцеловал его в нос. Надел на шею ребенка золотой крестик и бережно передал мальчика няне Арине.

*

Маленький, толстый, неуклюжий мальчик сидит посреди тротуара и водит ладонями с растопыренными пальцами перед глазами. Он весь ушел в это занятие и не замечает проходящих и насмешливо глядящих на него людей. Бессмысленное занятие захватило его всего. В его детской курчавой головке творится что-то свое, ему одному свойственное.

Няня Арина с сестрой Ольгой и братом Львом ушли далеко вперед. Саша подымает голову, оглядывается. Видит в окне девушку, которая смотрит на него и смеется. Саша показывает ей язык, вскакивает и бежит догонять няню.

*

В Юсуповском саду тихо и сыро. Няня Арина с тремя детьми идет по аллее и рассказывает им одну из многочис-

сленных своих сказок. Саша ее рассеянно слушает. Глаза его блуждают по саду. Там, вдали меж деревьев, белеют статуи. Он отходит от няни и идет к ним. Голос няни чуть доносится до его слуха. Он подходит к обнаженной мраморной женщине и обвивает руками ее холодные колени. Подняв голову, не отрываясь смотрит в лицо богини. Какие-то неясные звуки и слова рождаются в его мозгу. Сердце часто бьется. Он бормочет что-то не спуская глаз с холодного мрамора.

*

Ночь. Тишина. Маленький восьмилетний мальчик босиком и в одной рубашке пробирается в отцовскую библиотеку. Луна заглядывает в окно, освещая ряды книг на полках и очерчивая на полу квадрат света с темным крестом рамы посередине. Боязливо оглядываясь, мальчик достает с полки книгу и забирается с ногами в кресло. Углубившись в чтение, он не чувствует ни холода, ни неудобства позы. Не слышит скрипа двери, не видит входящего отца.

— Что вы тут делаете? — спрашивает Сергей Львович по-французски.

Саша вздрагивает и поднимает голову. Забыв о сыне, не интересуясь, что он читает Сергей Львович наблюдает игру света-теней на полу.

— Прочитайте что-нибудь, — робко просит Саша.

Сергей Львович минуту думает, потом начинает декламировать Мольера.

Читает он хорошо и, увлекаясь, читает долго. Саша не спускает восхищенных глаз с отца.

Наконец, очнувшись, Сергей Львович замечает сына.

— Не пора ли вам спать?

Саша соскальзывает с кресла и неуклюже, боком выходит в дверь.

За окном загорается утренняя заря.

*

Лицей. Комната № 14. На раскладной постели, подперев рукой голову, полулежит юноша. Он весь ушел в чтение и не слышит несколько раз повторенного стука в стену.

— Ты спишь, Пушкин?

Слова друга, наконец, доходят до его сознания. Он поднимает голову и улыбается.

— Я слушаю тебя, Пушкин... — и на доносящиеся до него из-за стены слова отвечает:

— Она прелесть, как хороша... и совсем не похожа на горничную.

Потом он звонко смеется и шаловливо шепчет в стену: — Она совсем не думает, что я обезьяна.

*

Тихи ночные дортуары. У одной из закрытых дверей на страже стоит лицейский дядька. Он слушает, что происходит за дверью. Оттуда слышатся веселые голоса, смех, звон бокалов. Потом до слуха дядьки доносится звонкий голос, читающий стихи. Дядька бледнеет. Он всегда бледнеет, когда слышит хорошие стихи. Читает Пушкин, а в Лицее всем известно, что никто не пишет стихов лучше Пушкина. Голос замолкает. Некоторое время стоит тишина, потом слышны восторженные крики и отдельные слова:

— Еще, Пушкин... еще...

И вновь звонкий, задорный голос и восторженные крики, и звон бокалов. На лице дядьки появляется добродушная улыбка. Он любит Пушкина за его стихи, а дядька снимает в них толк.

Проходит ночь...

Наутро тот же лицейский дядька с узелком в руке прощается с лицеистами: его уволили за покрытие их юношеских шалостей. Дядьку окружили Дельвиг, Пушкин, Данзас, Пушкин, Горчаков, Яковлев, Корсаков. Лица у всех расстроены. Узелок — все имущество дядьки. Лицеисты собрали деньги и сунули в руку их оторопелого и расстроенного старого друга. Каждый подходит к нему и сжимает руку старика. Теплей всех прощается с ним Пушкин. Он бросается ему на шею и прижимается лицом к его щетинистой щеке. На глаза дядьки выступают слезы.

*

Державин получил приглашение на лицейский экзамен. В последнее время он неохотно выезжал. И нездоровье, и старость. А не поехать нельзя. Державин бормочет что-то беззубым ртом и неохотно кличет слугу. Опять нужно надевать ботфорты, ленту... За окном медленно, большими хлопьями

падает снег. Недовольный, Державин совершает свой туалет. Выходит на крыльцо и садится в поданную карету. Во время пути он полудремлет и думает о том, что в его годы выезжать — тяжелая обязанность.

За длинным столом лицейского зала сидят видные петербургские сановники: митрополит, министр народного просвещения Разумовский, князь Салтыков, А. И. Тургенев и дядя Пушкина. В зале много гостей. Державин опаздывает. Без него не начинают. Наконец, он входит. Недовольное выражение не сходит с его лица. За столом он полудремлет, почти не слушая экзаменующихся. Выходит Пушкин. Он читает свои «Воспоминания в Царском Селе». Под сводами лицейского зала его голос звучит страстно. Сонное лицо Державина преобразается. Выражение недовольства сходит с него. Он с изумлением слушает шестнадцатилетнего лицеиста.

Пушкин кончил. Державин подымается и нетвердыми шагами идет обнять его, но Пушкин убежал и найти его не могут.

Возвращаясь домой, Державин думает о том, что заместитель ему найден, теперь и умереть можно спокойно.



Снежный, вьюжный вечер. Ветер жалобно воев в трубе, но в низенькой комнатке тепло и уютно. Прислонившись спиной к столу, стоит Пушкин. Лицо его вдохновенно. Он читает исписанные размашистым почерком листы. Это — новые главы «Евгения Онегина». В глубоком дедовском кресле, быстро перебирая спицами, сидит няня Арина. Голова ее опущена, но лицо выражает спокойное внимание.

Вдруг Пушкин прерывает чтение: к крыльцу кто-то подъехал. В Михайловском гость большая редкость. Пушкин бежит к двери и в одном сюртуке выбегает на крыльцо. Запорошенная снегом фигура подымается по ступеням.

— Пуцин! — и Пушкин в объятиях друга.

В теплой комнате он тормошит освобожденного от шубы гостя и забрасывает его вопросами:

— Скажи, что нового в Петербурге?.. Расскажи о 14-ом декабря... — и печально слушает рассказ Пушкина о декабрьском восстании. При вести о том, что почти все его друзья находятся под судом и следствием, Пушкин поникает головой.

Потом он читает Пушкину новые главы «Евгения Онегина». Живая их беседа длится до утра. Расстаются они грустно, будто предчувствуют, что это их последняя встреча. Пушкин провожает друга на крыльцо и еще долго стоит, не ощущая холода, прислушиваясь к удаляющемуся звуку колокольчика.



Пушкин прощен и мчится по вызову молодого коронованного императора Николая Первого в Москву. Прямо с тарантаса его вводят в покои Чудова дворца. Император встречает Пушкина ласково.

— Скажи, Пушкин, — спрашивает он, — принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?

— Несомненно, Государь!.. Все мои друзья были в заговоре. Одно отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога.

— Довольно ты надурчился, — в конце беседы говорит Государь, — надеюсь теперь будешь более рассудительным... Отныне я сам буду твоим цензором.



Большой петербургский бал в разгаре. Кружатся танцующие пары. Вдруг все головы поворачиваются к двери: в зал входит Пушкин со своей красавицей-женой. По зале проносится восхищенный шепот. Блестящий кавалергард, пленитель женских сердец, Жорж Дантес, лавируя меж танцующими, пробирается к ним. Он склоняет голову перед Натальей Николаевной, приглашая ее на вальс. На лицо Пушкина набегают тень. Он следит за порхающей парой. Черезчур близко склонился Дантес к лицу его жены. Потом взгляд Пушкина ловит в толпе гостей худощавую фигуру нидерландского посланника. Геккерен также следит за красивой парой. Раздвигаясь в улыбке, губы Геккерена становятся еще тоньше. Мимо Пушкина проходит графиня Нессельроде и из-за веера насмешливо на него смотрит. Пушкин переводит взгляд, ища в толпе упорхнувшую пару. Наталья Николаевна сидит, обмахиваясь веером. За ее стулом стоит Дантес. Пушкин видит, как к жене подходит Император и что-то ей говорит, отчего щеки ее начинают рдеть ярче. Пушкина передергивает. Он поворачивается и идет в другие комнаты. По дороге пожимает руку Жуковскому и

вдруг замечает красавицу и умницу Смирнову. Когда он подходит к ней, лицо его светлеет. Она говорит ему несколько ласково-дружеских слов и Пушкин уже смеется. Очередная эпиграмма срывается с его уст и идет гулять по залу, вызывая улыбки одних и злобное шипение других. Графиня Нессельроде подходит к барону фон Геккерену и они обмениваются взглядами. Они понимают друг друга без слов.

*

На стенном календаре — 4 ноября 1836 года. Пушкин только что вскрыл конверт с очередным пасквилем. Лицо его чернеет. Взбешенный, он врывается в спальню жены, примеряющей новое платье, и бросает письмо ей в лицо. С Натальей Николаевной истерика. Пушкин возвращается в кабинет и лихорадочно пишет вызов Дантесу. Входит Жуковский. Пушкин читает написанное другу, но Жуковский не одобряет вызова и уговаривает Пушкина не отсылать его. Пушкин рвет написанное, но лицо его остается темным.

*

Степь оделась в белый саван смерти. Звук выстрела прорвал настороженную тишину. Снег обогрился кровью поэта.

Ветер неистово рыдает, провожая быстро мчущиеся сани с умирающим Пушкиным. Слуга на руках вносит его в кабинет.

Два дня Пушкин борется со смертью. Смерть победила. Голос, будивший в душе каждого лучшие чувства, замолк навсегда.

Вся Россия оделась в траур.

*

Морозная лунная ночь. Двое саней мчатся по глубокому снегу. На передних — гроб с останками Пушкина и дядькой Никитой Козловым, на других Тургенев и жандармский полковник Рылеев. Сани нигде не останавливаются. Тело Пушкина тайком увозят из Петербурга.

В Святогорском монастыре, на виду у села Михайловского, Пушкин находит последний приют и вечный покой.



Аглаида Шиманская

* * *

1 .

Забудь страданье — полюби. Горит звезда.
Любовь сильнее всегда.
Забудь обиды, слезы и беду.
Сирень цветет в саду.
Растает лед от первого тепла. Согреет свет.
Разлуки в смерти нет.
Играют дети, ласточки летят. — Забудь!
Непостижим Господен путь.

2 .

Прими печаль и немощь, как друзей,
Их сердцем полюби и отогрей.
Прими, как дар, страдание свое,
Прими, как вечность, жизнь и бытие,
Свой каждый день: сегодня, завтра, вновь
Прими, как счастье, верность и любовь.

— * —

Николай Туроверов

КОЛДОВСТВО

*

Прозрачный, призрачный и голубой
Спустился сумрак на Днепровские долины.
Поднялся полумесяц колдовской,
Ведьминый полумесяц Украины.

Ты умерла уже давным давно
И твой конец был Гоголем отмечен;
Но вот опять в парижское окно
Проникла ты ко мне под вечер.
Слепая страсть. Глядел рассвет
На наше скомканное ложе.
В моих руках лежал скелет,
Обтянутый горячей кожей.

* * *

В. Сумбатов

ПОЛЫНЬ

*

Среди букета горькая трава —
Сорвавшиеся с губ в разгаре спора
Нечаянные горькие слова . . .
Поссорились? Да точно ль это — ссора?

Встречаю твой веселый нежный взгляд,
В нем горечи нет даже и в помине.
И ясно мне: от запаха полыни
полнее стал букета аромат.

* * *

Клавдия Пестрово

”Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу“.
Анна Ахматова .

*

Так вот оно — преддверье Рая ! . .
Какие светы с высоты!
И в эвкалиптах птичьих стаи —
Господни певчие цветы!

И ветер свежий в океане,
И теплый, ласковый песок,
И водорослей колыханье,
А стайки рыб — у самых ног!
Как стая радужных иллюзий,
Сверкают свежестью пучин
И все плывут, плывут медузы
На парашютах из глубин.
И час за часом — все крылатей!
И каждый счастьем озарен!
Но розовы уже на скате
Узоры пальмовых корон
И, — темная — в вечернем небе,
Летит станица лебедей . . .

И кто-то пел вверху молебен
О нищенской душе моей.

* * *

Галина Соболева

В САДУ

*

В ясный солнечный день нет сильнее отрады,
Чем в саду поработать. (Порой до упаду)
Сорняки прополоть. Здесь подрезать, подправить,
Листья в кучу сгребать. Смело грабли направить

И закончить метлой, чтоб нигде ни соринки.
В ясный солнечный день мне кивают былинки,
Улыбается ласково солнце навстречу,
Но, увы, я улыбкой ему не отвечу.

Австралия .

* * *

НОЧЬЮ

Что скрывают мои черты —
Пусть узнает один лишь Бог.
Если спросишь случайно ты,
Я сумею найти предлог . . .

Под окном прошумел экспресс,
На соборе пробило три;
На фасады свой мертвый блеск
Льют вдоль улицы фонари.

Как под сводом чужих небес
Тяжело ожидать зари!

* * *

С. Л. ВОЙЦЕХОВСКИЙ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*

1.

Эти годы промелькнули, как вагоны
Поезда, бегущего вдали . . .
Где-то потемнели небосклоны
Горькой, неприветливой земли,
Где-то отшумели океаны,
Где-то отпылали города . . .
Ты пришла в неведомые страны,
Наша путеводная звезда.
Неужели нет другой дороги?

Неужели нам нельзя найти
Менее высокие пороги,
Более спокойные пути?
Неужели суждено нам ныне
Жить, любить, бороться и гореть
Только для того, чтоб на чужбине
Странником бездомным умереть?

2 .

Запахнувшись черным плащом
И скрепив его звездным запястьем,
Над земным, над непрочным счастьем
Ночь проходит своим путем.
Сторожат остроглавые башни
Городов беспокойный сон
И тревожно, с пяти сторон,
К ним прижались леса и пашни.
Смотрит месяц в свой узкий глаз,
Заползает под наши крыши,
Но не бойся — он не услышит
Этот странный ночной рассказ.

— * —

Юбилейный Комитет пров. Квебек

UNION DES ORGANISATIONS ETHNIQUES RUSSES
De la Province de Quebec

UNION OF RUSSIAN ETHNIC ORGANISATIONS
In the Province of Quebec

4391 MELROSE AVE. MONTREAL 28, P. Q. Tel.: 488-1455

— * —

Duke Dimitri of Leuchtenberg
De Beauharnais
President

G. M. Koutchougoura
Vice-President
S. N. Fedorow
Secrtaire Generale

ДОСТОЕВСКИЙ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ КРИТИКЕ

I.

Русское заграничное достоевсковедение явилось прямым продолжением традиций дореволюционной, главным образом, философско-религиозной критики. В значительной степени характер многих русских работ о Достоевском за границей определялся тем огромным влиянием, которое оказал на развитие русской философско-критической мысли Владимир Соловьев. Особенно это заметно в писаниях о Достоевском таких чисто религиозных исследователей, как Митрополит Антоний, издавший в Софии (Болгария) в 1921 г. **«Словарь к творениям Достоевского»**. В разное время в течение своей долгой жизни, находясь под влиянием Соловьева и Достоевского, Митрополит Антоний написал около двадцати статей о Достоевском. Позже, уже в 1965 г., они были собраны и изданы под редакцией и с предисловием Архиепископа Никона (Рклицкого) Северо-Американской и Канадской епархией в Нью-Йорке ¹⁾.

Митрополит Антоний в **«Словаре к творениям Достоевского»**, как и в последующих статьях сформулировал и высказал стремление русской православной Церкви выйти за пределы храма и распространить свое слово на все стороны жизни, включая общественную и литературную. Всероссийское и мировое признание гения русского писателя, религиозный характер его идей делают его творения особенно приемлемыми для Евангельской проповеди. В согласии с мыслями

¹⁾ Митрополит Антоний. Ф. М. Достоевский, как проповедник возрождения. Издание Северо-Американской и Канадской епархий, 1965, Нью-Йорк, 311 стр.

Вл. Соловьева о новом религиозном искусстве Достоевского, Митрополит Антоний выделяет в наследии этого писателя пророческое и нравственно-учительское значение. 13 статей о Достоевском, написанных Митрополитом Антонием в эмиграции в период с 1929 по 1934 г.г., были вдохновлены идеей духовного возрождения и рассчитаны на духовное просвещение интеллигенции, читающей творения великого писателя. В истолковании Митрополита Антония Феодор Достоевский выглядит великим руководителем и воспитателем христианского духа. При всех благородных достоинствах этих писаний, нельзя не отметить, что все же облик Достоевского в них выглядит несколько одноцветным и елейным даже по сравнению с образом этого писателя у такого выдающегося религиозного философа, как Владимир Соловьев. Последний в своих «Трех речах в память Достоевского» начертил фигуру мужественного подвижника, целиком обращенного к предугадываемому им будущему идеалу грядущего Царства Божьего. Соловьев не боялся называть идеал писателя, в противоположность западному социализму, «русским социализмом». Но в этом последнем он усматривал у Достоевского идею возвышения всех до нравственного уровня Церкви, одухотворения государственного и общественного строя путем воплощения в жизни Христовых истин и ценою отказа от национального эгоизма. Проповедываемое Достоевским Всемирное братство во имя Христа не заслоняло ясного взгляда на царящее зло, в котором, однако, он находил невидимое добро. Соловьев рассматривал всю жизнь писателя, как горячий порыв к всечеловечеству. Конечно, и Соловьев из предпосылок Достоевского сделал вывод в угоду своей главной мысли о теократии, всечеловечестве и соединении церквей, в то время как Достоевский верил во всемирную миссию России и вселенскость русского духа. За утверждениями смиренной веры скрывались черты мессианства, за смирением — гордость, за призывами братской любви — любовь-ненависть к Европе, за братским единением Церквей — вражда к католицизму. Конечно, Митрополиту Антонию, подобно Вл. Соловьеву, вольно было брать у Достоевского то, что ближе лежало к его сердцу и соответствовало его религиозным идеалам. Такие труды также вполне оправданы и имеют право на существование. Но в известном смысле они разделяют судьбу речей Соловьева, где он иллюстрировал свои идеи творчеством Достоевского, но прошел мимо всего того, что составляет неотъемлемую сущность творений великого писателя —

бездны зла в человеческой душе, тайников «подполья» и заблуждений человечества, трагедий личности, порвавшей с Богом.

В этом отношении более научной и обогащающей мировое достоевсковедение является фундаментальная работа эмигрантского ученого литературоведа, Мочульского Константина Васильевича (1892-1950), изданная в Париже в 1947 г. издательством ИМКА-ПРЕСС под заглавием **«Достоевский. Жизнь и Творчество»**. Среди шести книг о русских писателях, написанных К. Мочульским и изданных тем же издательством ИМКА-ПРЕСС в Париже, **«Владимир Соловьев»** (1932), **«Духовный путь Гоголя»** (1934), **«Александр Блок»** (1948), **«Андрей Белый»** (1955), **«Валерий Брюсов»** (1962) и упомянутая выше о Достоевском, последняя выделяется как объемом (561 страница), так и тщательностью обработки собранного материала. Хотя автор и положил в основу своего исследования биографическую канву жизни Достоевского, по которой он исследует творчество, однако увлечение фактами жизни писателя не затемняет смысла творческой истории великих творений. Религиозный аспект философского подхода Мочульского к Достоевскому не только не препятствует выяснению философии романов, но, наоборот, под пером опытного и умелого мастера идейного анализа, сопровождается глубоким проникновением в самую сущность осуществленных творений писателя. Мочульский продолжает изучение философской диалектики Достоевского, начатое такими критиками, как Н. Бердяев, Д. Мережковский, С. Булгаков, А. Волынский, В. Иванов и В. Розанов. Как продолжатель вызванной ими духовной революции, критик занят дальнейшими поисками третьего измерения — метафизической глубины в «романах-трагедиях». С высоты достижений в изучении Достоевского в XX веке Мочульский усматривает в нем «великого религиозного мыслителя». В этом плане он с предельной скрупулезностью исследует т. н. «катастрофическое мировоззрение», как «духовный климат эпохи». Путем пристального анализа фактов и произведений, литературовед подводит читателя к пониманию трагического мировоззрения автора «Бесов», которое было недоступно пониманию позитивистам прошлого века, как и богооставленным нашим дням. Мочульский убедительно доказывает веру писателя в то, «что за Голгофой человечества по-

следует второе пришествие Христа и «раздастся великий гимн нового и последнего воскресения»²⁾).

Поэтому критик отводит место Достоевскому в мировой литературе наряду с великими христианскими писателями — Данте, Сервантесом, Мильтоном, Паскалем. Жизненный путь писателя критик уподобляет кругам Дантовского ада, сквозь который, однако, Достоевский пронес «сияющий образ» Христа — величайшей любви в жизни писателя.

Интересно отметить, что Мочульский был осведомлен о всех доступных ему по времени работах о Достоевском как за границей, так и в СССР. Он ссылается на труды А. Долинина, В. Комаровича, Л. Гроссмана, Г. Чулкова, В. Виноградова, Ю. Тынянова, А. Бема и других ученых достоевковедов, закладывавших основы научного историко-литературного изучения творчества Достоевского в период между двумя мировыми войнами в Европе. Мочульский достойно оценивал публикацию архивов, забытых и неизвестных произведений Достоевского, приветствовал публикацию его писем, появление сборников публикаций и исследований, важных для выяснения идеологических и художественных замыслов, для понимания генезиса романов-трагедий и законов их построения. Мочульский считал, что поколение символистов открыло Достоевского-философа, а современные исследователи открывают в нем художника, тем самым разрушая миф об эстетической бесформенности творений автора «Братьев Карамазовых».

Такое умение сочетать поиски особых метафизических глубин и религиозного смысла с обогащающим литературоведческую мысль структурным анализом романов Достоевского объясняется, наряду с личными достоинствами ученого литературоведа, наличием больших традиций в изучении творчества этого писателя за границей. Ведь еще в 1921 году в Софии (Болгария) в издании Российского Болгарского Книгоиздательства вышло в свет замечательное исследование Юрия Никольского «Тургенев и Достоевский» (История одной вражды)». Оно впервые и значительно раньше, чем в СССР, пролило много света на неизвестные стороны взаимоотношений этих двух гигантов русской художественной литературы. Фактический материал, собранный и обработанный автором

²⁾ К. Мочульский. Достоевский. Жизнь и Творчество. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1947, стр. 536.

еще в России, настолько обогатил наше знание об этих писателях, что получил высокую оценку не только за границей, но и в Советской России. Недаром, известный знаток Достоевского А. С. Долинин посвятил памяти безвременно умершего Юрия Никольского свою работу «Тургенев в «Бесах», а в сноске к посвящению называет труд Никольского «прекрасным» и признается в ориентировании на его концепцию, дополняя только письмами Достоевского к Тургеневу, опубликованными позже и неизвестными Никольскому³⁾). Документально убедительно и тонко Никольский подводит читателя к пониманию взаимоотношений двух писателей, как противоположностей волевой мужественности и женственной пассивности. «Они отталкивались друг от друга, — писал исследователь. — Но было что-то, что их тянуло. Тянуло особенно Достоевского — сторону активную. Это было тогда, когда он «едва не влюбился» (при первой встрече), когда приходил обругать «ДЫМ», даже на юбилее 1879 года. Их встреча роковым образом не вышла. И символом того, что **могло быть**, лучшим мигом в их отношениях — был воздушный поцелуй за Лизу, этот чистой красоты женский образ, который перейдет в века и «тленья убежит»⁴⁾).

II.

В 1923 году в Берлине вышли книги о Достоевском: «Русская стихия у Достоевского» Б. П. Вышеславцева и «Система свободы Ф. М. Достоевского» А. З. Штейнберга, в издательстве «Скифы». В Праге (Чехословакия), в издании ИМКА-ПРЕСС в том же 1923 г. выходит выдающийся труд Николая Бердяева «Миросозерцание Достоевского». В книге Вышеславцева рассматривается отражение проблем русской души, как они поставлены и решены в творениях Достоевского. Две бездны русской души во всем трагическом противоречии, борьба Бога с дьяволом в сердцах людей, проблемы трагической судьбы и Провидения, как и интерес к проблеме страда-

³⁾ А. С. Долинин. "Тургенев в "Бесах". Ф. М. Достоевский. Статьи и Материалы. Под редакцией А. С. Долинина. Сборник Второй. Издательство "Мысль", Ленинград-Москва, 1924, стр. 119.

⁴⁾ Юрий Никольский. Тургенев и Достоевский. (История одной вражды). Российско-Болгарское Книгоиздательство, София, 1921, стр. 108.

ния и проблеме Иова, делают Достоевского великим трагиком не менее Шекспира и объясняют, по Вышеславцеву, всемирный интерес к русскому Достоевскому.

Николай Бердяев в своем труде **«Мирозерцание Достоевского»** в сравнительно краткой форме изложил свое понимание философии этого писателя по всем основным и волнующим философа проблемам, как то: духовный облик писателя, человек, свобода, зло, любовь, революция и социализм, Россия, Богочеловечество и человексбог, отношение к Достоевскому. Те мысли, которые философ высказывал о Достоевском на протяжении всей своей жизни в ряде трудов, в частности, в книгах **«Русская идея»** (1946), **«Самопознание»** (1949), **«Истоки и смысл русского коммунизма»** (1955) и др., а в России еще в статье **«Духи русской революции»** в коллективном сборнике **«ИЗ ГЛУБИНЫ»** (1918, Москва), изъятом советскими властями из обращения в 1921 г., нашли свое заверщенное выражение в сравнительно небольшой, но ярко написанной книге **«Мирозерцание Достоевского»**. В **«Самопознании»** Н. Бердяев признавался: «В центре моего религиозного интереса всегда стояла проблема теодицеи. В этом я сын Достоевского»⁶⁾). Больше того, на стр. 193 книги **«Самопознание»** Бердяев признается, что и Христа-то он впервые принял в свое сердце из **«Легенды о Великом Инквизиторе»**. Через две страницы он снова делает многозначительное признание, говоря, что наряду с великим немецким мистиком Я. Беме «всегда поминает в своих молитвах» и имя Достоевского. В предисловии к **«Мирозерцанию Достоевского»** признательность Бердяева Достоевскому в смысле влияния на формирование взглядов философа вылилось в следующих красноречивых словах: «Достоевский имел определяющее значение в моей духовной жизни. Еще мальчиком получил я прививку от Достоевского. Он потряс мою душу более, чем кто-либо из писателей и мыслителей. Я всегда делил людей на людей Достоевского и людей, чуждых его духу. Очень ранняя направленность моего сознания на философские вопросы была связана с «проклятыми вопросами» Достоевского. Каждый раз, когда я перечитывал Достоевского, он открывался мне с новых и новых сторон. В юности с пронизывающей остротой запала мне в мою душу тема **«Легенды о Великом Инквизиторе»**. Мое первое

⁶⁾ Николай Бердяев. САМОПОЗНАНИЕ (Опыт философской автобиографии). ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1949, стр. 189.

обращение ко Христу было обращением к образу Христа в Легенде. Идея свободы всегда была основой для моего религиозного мироощущения и мирозерцания, и в этой первичной интуиции свободы я встретился с Достоевским, как своей духовной родиной. У меня была давняя потребность написать книгу о Достоевском и я осуществлял ее лишь частично в нескольких статьях. Семинар, который я вел о Достоевском в «Вольной Академии Духовной культуры» в течение зимы 1920-21 года окончательно побудил меня собрать все мои мысли о Достоевском. И я написал книгу, в которой не только пытался раскрыть мирозерцание Достоевского, но и вложил очень многое от моего собственного мирозерцания» *).

По существу, Бердяев очень проникновенно иллюстрировал примерами Достоевского свои собственные идеи, апофеоз идеи свободы, в частности. Великого писателя он называл «своеобразным христианским, православным социалистом», «обращенным к грядущему Граду Божьему» в противоположность социалистам революционным, пекущимся о построении Вавилонской башни на земле. Во главу угла философ ставит идею человека, рожденного свободным существом и свободным духом. Свобода человеческого духа предполагает свободу избрания добра и зла и неизбежность страдания и трагедии жизни. Свобода зла ведет к своеволию и самоутверждению человека и даже порождает бунт на самый источник духовной свободы. Безграничное своеволие отрекается от свободы, как бремени страдания. Свобода переходит в рабство и принуждение. Насилие революций, порожденное самоутверждением и своеволием человеческой личности, сводится к отрицанию качества человеческой личности, ее ответственности и безусловной ценности. Отрицание нравственной ценности личности, ее автономии, превращает ее в простое материальное средство для торжества революции. Достоевский восстает против революционной морали во имя достоинства и нравственной ценности личности. Революционная одержимость и беснование ведет к потере личности, к подчинению ее безличной и нечеловеческой стихии. Бесы, вселившиеся в деятелей революции, порабащают их самих и делают их слепым орудием, потерявшим человеческий лик. Они рабы стихийных духов, подвластны безличному духу. Отсюда бесчеловечность, деспотизм, отсутствие собственного мнения, неуважение к личному началу, ложь

*) Николай Бердяев. МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ДОСТОЕВСКОГО. Издание ИМКА-ПРЕСС, Прага, 1923, стр. 3-4.

безликого коллективизма, жесоборность религии социализма, торжество шигалевщины и смердяковщины. Иван Карамазов и Смердяков — два явления русского нигилизма, две формы русского бунта. В первом — возвышенное философское явление нигилистического бунта, во втором — низкое лакейское его проявление. Атеистическая диалектика на вершинах умственной жизни Ивана осуществляется в низах и массах миллионами смердяковых. Если Иван совершает отцеубийство в мысли, то смердяковы в лице революционных масс осуществляют массовый террор и оправдывают кровь и убийства диалектикой революции. Революция порывает связь с прошлым, исповедует религию убийства и разрушений. Автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» отвергает утопию о конечной гармонии и жизни в добре на вершине мировой истории, купленной ценой неисчислимых жертв и страданий поколений во имя грядущего рая. Не приемлет он и гармонии, жизни в добре без свободы избрания, а мировой трагедии — без страдания и творческого труда. Идеалом для него является путь через свободу и страдание. В бунте подпольного человека и Ивана Карамазова Достоевский видит положительную правду против религии прогресса, рисующего грядущую гармонию и райское блаженство. Такая мировая гармония нравственно неприемлема. Но Достоевский, в отличие от своего героя Ивана, возвышается над ограниченностью «Эвклидова ума», ибо верит в Бога и смысл Божьего мира, верит в Искупителя, в жизнь, как искупление. Окснчательная гармония достигается в Царстве Божием, а не в царстве мира сего. Если есть бессмертие, то возможно принять и мировой прогресс. Но к мировой гармонии человек придет через свободу избрания добра и преодоления зла. Принудительная гармония не соответствует достоинству сынов Божьих. Таков смысл «Сна смешного человека» и картин будущего человечества, нарисованных Версиловым в романе «Подросток». Принимая страдальческий путь свободы, Достоевский раскрывает последние результаты этого пути. Только во Христе человеческая свобода примиряется с Божественной гармонией. Вопрос о мировой гармонии и рае для Достоевского разрешается через церковь, которая призвана царствовать на земле. Николай Бердяев находит в теократических утопиях Достоевского элементы своеобразного христианского анархизма и христианского социализма, в корне противоположные атеи-

стическим анархизму и социализму. В идеях религиозного мессианизма он усмотрел отражение русского религиозного народничества. Но, по мнению философа, «народопоклонство Достоевского потерпело крах в русской революции. Его положительные пророчества не сбылись. Но торжествуют его пророческие прозрения русских соблазнов»⁷⁾). А провидцем и пророком русской революции делает Достоевского то, что он первым заметил смешения и подмены, положенные в основу русской революционной морали, антихристовы соблазны русской интеллигенции. По мнению Бердяева, Достоевский «вскрыл духовную подпочву нигилизма, заботящегося о благе людей и предсказал, к чему приведет торжество этого духа. Достоевский понял, что великий вопрос об индивидуальной судьбе каждого человека совершенно иначе решается в свете сознания религиозного, чем в тьме сознания революционного, лжерелигий»⁸⁾).

Внутреннее видение духовной сущности русской революции и религии социализма привело писателя к великим открытиям и делает «Бесы» и другие книги Достоевского книгами пророческими. Сказанная им правда, не слащавая розовая правда, а правда трагическая об антихристовых соблазнах апокалиптического по своему духу народа, правда, раскрывающая религиозную ложь гуманизма в социализме, стремящемся устроить царство Божье на земле без Бога, осуществить на земле любовь между людьми без источника любви, Христа. Годы, прошедшие со дня создания Бердяевым труда о Достоевском, наглядно подтверждают правоту русского философа, узревшего в Достоевском великого разоблачителя подавления в человеке подобия образа Божия и свободы человеческого духа на путях революционной смуты. Поставленные Достоевским с небывалой до него остротой религиозные вопросы о человеке в сопоставлении их с вопросами о социализме остаются основными философскими проблемами всей нашей эпохи великих потрясений. И слово Н. Бердяева здесь особенно значительно.

⁷⁾ Николай Бердяев. "Духи русской революции". II. Достоевский в русской революции. НОВЫЙ ЖУРНАЛ, № 79, Июнь, 1966, Нью-Йорк, стр. 39.

⁸⁾ Там же, стр. 7.

(Продолжение следует).



ДВА РУССКИХ ЮНОШИ НАЧАЛА XIX ВЕКА ПО ИХ ДНЕВНИКАМ. —

А. ЧИЧЕРИН И С. ЖИХАРЕВ.

— — —

1. АЛЕКСАНДР ЧИЧЕРИН (1793 - 1813).

1.

Чистосердечный мальчик с чистой, нежной и мужественной душой — вот образ, который встает перед нами из дневника 19-20-ти летнего Александра Чичерина, погибшего геройской смертью впереди своих солдат в знаменитом сражении под Кульмом 18 августа 1813 года ¹⁾. Эти дневники полны неожиданного и трудно передаваемого очарования, от них веет такой неподдельной свежестью и бодрой жизнерадостностью хорошей и светлой юности, что невольно чувствуешь, что полюбил их автора во всей его свежести и искренности, при всех его столь чистосердечно им самим признаваемых недостатках. Недостатки, впрочем, малые: некоторая расточительность (но и щедрость), от чего он часто — т. е. средства у него небольшие — сидит без денег (но стесняется при этом занимать!);

¹⁾ Поручик Лейб-Гвардии Семеновского полка, Александр Васильевич Чичерин, сын генерал-лейтенанта Василия Николаевича Чичерина — сподвижник Суворова, и Екатерины Александровны Чичериной, рожденной Салтыковой, родился в 1793 г. Двенадцати лет он поступил в Пажеский корпус и в 1811 г., 18-ти лет, был произведен в поручики. Семья Чичерина была высоко культурной. Вместе с тем, в С. Петербурге он много бывал в домах почтенной старой княгини Наталии Петровны Голицыной (1739 - 1837) и ее дочери, высоко образованной графини Софии Владимировны Строгановой, в салоне у которой Чичерин встречал Жуковского, Державина, Карамзина. Дневник Чичерина напечатан в Советском Союзе (Москва, 1966 г., издательство "Наука"); он переведен с подлинной рукописи Чичерина на французском языке, хранящейся, в темном сафьяновом переплете, в Государственной Публичной Библиотеке.

желание производить благоприятное впечатление в обществе — остроумием, забавными и умными разговорами. За все это (он усматривает в этом свойственную ему склонность к некоему тщеславию) он жестоко себя корит в своем дневнике, а также за склонность к некоторому (очень невинному) сибаритству и . . . лени («Я русский, и моя лень подобна запою у пьяниц»), и он старается бороться с этим. Но прежде всего он — чрезвычайно добродушный мальчик с очень добрым сердцем, получивший к тому же очень хорошую, здоровую семейную закваску и связанный узами нежнейшей любви со своей семьей. И сверх того у него — этого 19-тилетнего юноши — сильно пробуждено сознание нравственной ответственности. Он беспрестанно старается исправить свои недостатки, выговаривает самому себе. Но без всяких больших усилий, он по своей природе и по воспитанию, полученному дома, прост и естественен и добродушен в общении с людьми и неподдельно и сердечно добр, попросту, без всяких фраз, просто по влечению своего доброго сердца. Видно, что им вынесены очень хорошие традиции из его семейной среды — традиции подлинности, доброты, скромности, сознания долга. Он страдает внутренне при виде бедствий жителей, причиняемых войной. Он с состраданием и ужасом смотрит в Вильне (и раньше уже) на толпы умирающих от холода и изнеможения, полузамерзших французов, попавших в плен; он очень интересуется жизнью крестьян в русских деревнях и очень высокого мнения о простом русском народе; он заботится о своих солдатах и приветлив с ними. Во время своей длительной задержки в Плоцке для восстановления сил (после очень тяжелой болезни) он каждый день ходит в военный госпиталь навещать раненых и больных солдат, пошутить с ними, подбодрить их. Некоторым, особенно нуждающимся в подкреплении сил он покупает дополнительную еду (несмотря на бедственное состояние собственного кошелька). Особенно поражает — его бодрость, его выдержка, его готовность видеть хорошие стороны всех выпавших на его долю испытаний похода. Он чуть не заблудился со своей лошадью на обмерзлой снежной дороге, весь пронизанный холодным ветром, а уставшая лошадь уже еле бредет по ледяной скользкой дороге. Нужно идти пешком и тащить ее за собой в полном одиночестве, часами, но, наконец, — ночлег, теплое помещение, горячая еда, можно выспаться. Как он доволен! А если во время более длительной остановки в маленьких городках Западного края или Польши или Германии ему выпадает отдельная комната, то он в восторге. Сразу устраивает свой письменный стол, берет свой дневник, рисует карандашом сцены или виды и записывает отчет о событиях, а, главное, свои рассуждения. Он — страшный резонер, задает себе трудные и ответственные темы — о характере воспитания, об истинном счастье и т. п. — излагает свои мысли, не глупые

и не являющиеся лишь повторением прописных истин, а свидетельствующих о его живой наблюдательности (много и забавных черт умеет он подметить) и о сильном чувстве нравственной ответственности. Или вспоминает о друзьях. Он — очень верный друг и нежный сын. Но о самых основных глубоких, интимных чувствах — о своей любви к родителям — он не хочет и не может писать даже в интимном дневнике: эти основоположные, самые «священные» чувства души не могут и не должны быть высказываемы. Получается в этом истинно замечательном по своей живости и правдивости дневнике смешанная и пестрая картина жизни душевной, какой она действительно есть, но жизни душевной очень чистого, забавного, живого, естественного и, вместе с тем, очень культурного юноши. Культурность эта видна уже в характере его размышлений (навеянных, вероятно, до известной степени французскими моралистами), не высокопарных, связанных с жизнью, но иногда немного отсылающихся литературой. Опыта большого у этого юноши, конечно, еще не может быть, но мысли здравые, часто близкие к жизни. Все дневники написаны на очень хорошем французском языке (вместе с тем он очень большой русский патриот и ратует против жалкого внешнего подражания всему иностранному). В его споре со старшим образованным товарищем по полку, капитаном Гурко, о важном значении математики (роль которой в воспитании Чичерин отстаивает против Гурко) мы видим, что он сам успел познакомиться, с начатками высшей математики — дифференциальными и интегральными исчислениями, очень этим увлекался. Он читает по дороге Стерна и Дон Кихота. Он, конечно, дома хорошо изучил французскую классическую литературу 17-го и 18-го веков (это видно из французского стиля его моралистических рассуждений). Мы видим, что он читал, например, «Федру» Расина. Он упоминает о «Гулливере» Свифта, упоминает о Гельвеции. Он умеет вести длинные серьезные разговоры на превосходном французском языке. Из дневника видно, что он свободно понимает и по-немецки. Он умеет быть светским и любит это иногда, но особенно приятно ему общество близких друзей и товарищей со сходными или близкими интересами, и он в походе (или при случайных встречах, напр., в тылу) часами запоем ведет разговоры и споры на темы философские, морально-общественные, педагогические и т. д. Но ему нужно вместе с тем и одиночество. Без некоторой и даже большой дозы одиночества он не может быть. Ему нужно быть одному, чтобы сосредоточиться, чтобы записать свои мысли и впечатления; он несчастен, когда он все время на людях *). Когда он один (во время его длительного выздо-

*) «Когда я один (это я и называю: свободен) я не знаю скуки, я всегда могу пойти себе интересное занятие» (стр. 101).

вления, когда он остался в тылу армии в Польше) он умеет распределять свой день; у него иногда появляется столько занятий, что он не успевает справиться с ними. Особенно он любит гулять один, когда местность кругом красива, и зарисовывать виды. Он сильно переживает красоту природы и живописность старых городов, старинных зданий. Так, в Плоцке его любимые прогулки — развалины старинного готического монастыря, поросшего плющом, над крутым берегом Вислы. Особенно нравится ему Верхняя Силезия с ее живописными деревнями и склонами Писолиновых гор. Вот — некоторая сводка черт его характера, его переживаний, собранных из его дневника. К этому присоединяется огромная свежесть и непосредственность чувств, которые в этом памятнике странным образом в высокой мере сохранены. Перед Вами как бы живой — забавный, веселый, очень естественный и бесхитростный, но утонченно чувствующий и благородный мальчик.

II.

Хочу привести здесь ряд особенно характерных мест из его дневника. **Всякое мгновение приносит мнѣ радость**, — пишет он 22 сентября 1812 года из Тарутинского лагеря. Но это является заключительным предложением, которому предшествуют слова, свидетельствующие о вдумчивости и, если не зрелости, то уме и серьезности этого мальчика: **«Въ началѣ похода, совершенно неопытный, я терялъ попусту часы, столь драгоценныя въ нашей быстротечной жизни; теперь же, когда я почти всего лишился, всякое мгновение приносит мнѣ радость»** (Все это, как и весь дневник, написано на превосходном французском языке — языке, столь подходящем своей тонкостью и отделанностью для моральных и психологических рассуждений). Это довольство малым, эта открытость малым радостям жизни (с оттенком некоего руссоизма), но и бодрое перенесение невзгод проходит через весь дневник. Что вдохновляет юношу? Не жажда новых впечатлений и приключений, не юношеский авантюризм, а глубокое чувство, охватывающее его и не оставляющее его во все время кампании — жажда послужить родине, готовность, жажда отдания себя. Чичерин избегает декламации, пафоса, он очень сдержан, стыдлив в выражении своих чувств, у него много душевного целомудрия, но все же иногда прорываются такие слова в его дневнике. Он не может примириться с мыслью отдания Москвы без боя. **«Я еще буду сражаться у вратъ Москвы... Я брошусь впередъ подъ ядра, буду биться за свое отечество, ибо хочу исполнить свою присягу, и буду счастливъ умереть, защищая свою родину, вѣру и правое дѣло»** (стр. 18). Эти слова оказались, как мы знаем, пророческими (он погиб через 11 месяцев после этой

записи). Это патриотическое чувство, охватившее молодого Чичерина, как и многих других, подобных ему молодых людей есть вместе с тем и чувство обще-народной солидарности. Он сильно ощущает близость к простому народу на фоне этого обще-народного горя и обще-народного порыва. В первой же своей записи, описывая отход от Москвы, он заносит: «Я остановился въ какой-то крестьянской избѣ. Мнѣ было отраднo грoвести среди крестьянъ этотъ, казалось, послѣдній день Россіи; отраднo быть среди своихъ, среди соотечественниковъ, которыхъ, казалось, я покидалъ навсегда» (стр. 14). Он в походе, но его полк (Лейб-Гвардии Семеновский) все время в армейском резерве (потом сопровождает ставку Главнокомандующего), и это тяготит его. «Сегодня у насъ дневка; я стою на хорошей квартирѣ, окруженъ друзьями . . . но жестокая тоска терзаетъ мое сердце и . . . я не могу не понимать, что ее вызываетъ благородное стремленіе быть полезнымъ» (31 октября 1812 г.). Он страшится преждевременного — во время пребывания Наполеона в Москве — заключения мира («вижу, что миръ, заключенный теперь, унижитъ наше могущество») и радуется возобновлению военных действий: «Наконецъ, все это кончено. Мы вновь беремся за оружіе, и хорошее настроеніе вернулось ко мнѣ» (26 сентября 1812 г. лагерь в Тарутине). После удачного дела Платова под Духовщиной он охвачен восторгом: «Улегшись, я долго не могъ уснуть отъ радостнаго волненія, перебирая въ умѣ все, что можно было бы сдѣлать, упивался славой, какъ никогда прежде, гордился своимъ отечествомъ» (30 октября 1812 года).

Дневник Чичерина интересен и рядом ценных мелких черт, помогающих живее представить себе некоторые подробности кампании 1812 и 1813 годов. 3 октября 1812 г. под Тарутиным он пишет (за несколько дней до отступления Наполеона из Москвы!): «Зима уже совсѣмъ близко. Теперь тщетно было бы ожидать большихъ военныхъ дѣйствій: недѣли черезъ двѣ снѣгъ покроетъ поле и затруднитъ передвиженіе армій». Но поход возобновился!

*

«13-го октября. Лагерь за Гончаровымъ: « . . . Пока что я радъ отмѣтить, что все намъ благоприятствуетъ: ночи теплыя, дожди очень рѣдкіе и не сильные, дорога прекрасная. Главное же — это желать побѣдить и счастье, что наступаемъ, наконецъ, мы». Но картина вскорѣ мѣняется: «27-го октября. Лагерь при деревнѣ Бѣлый Холмъ: « . . . Уже три дня идетъ снѣгъ и, хотя я сижу передъ большимъ костромъ, руки мои совсѣмъ окончѣли». По окончаніи русской кампании, уже в Вильне 22

декабря 1812 года он пытается дать характеристику главных фаз военных событий. При этом он так характеризует лагерь русской армии под Тарутиным: «... въ теченіе 20 дней, что мы тамъ находились, наши полки были такъ хорошо укомплектованы, что армія приняла совершенно другой видъ; резервы были превосходные, кавалерія сосредоточилась, всинскій духъ былъ высокъ и, наконецъ, сама мѣстность намъ благопріятствовала... и наши 130 тысячъ представляли страшную угрозу для французовъ». Онъ очень высокого мнения, как и вся армія, о Светлейшемъ — о Кутузове, о его дальновидности, мудрости, силе духа. Несколько другое мнение у него о Ермолове, который был с нимъ чрезвычайно любезен, когда встретился с нимъ в Плоцке, где Чичерин долечивался после тяжелой болезни. «Онъ принялъ меня съ распростертыми объятіями — былъ чрезвычайно любезенъ; его обычная манера. Подъ этой маской онъ скрываетъ отъ тѣхъ, кто приближается къ нему, свою лукавую прозорливость и незамѣтно, за шутилой бесѣдой, изучаетъ людей» (2 апреля 1813 г., стр. 168). Интересны его замечанія о битвахъ под Дрезденомъ и под Бауценомъ, которые были почти выиграны русскими, но успех не былъ использованъ по нерешительности начальства (стр. 180-181, 183-184). Особенно интересно и замечательно то, что Чичерин пишетъ об императорѣ Александре I — о томъ, как онъ посетилъ умирающихъ полузамороженныхъ, уже полуразлагающихся французскихъ пленныхъ, загромождавшихъ все лѣстницы, коридоры, камеры Виленской тюрьмы:

«Я уже пытался изобразить ужасъ, пережитый мною въ битномъ набитыхъ плѣнными страшныхъ казематахъ, исполненныхъ зловоніемъ, вслѣдствіе нечистоплотности узниковъ; гдѣ на лѣстницахъ валялось столько труповъ, что невозможно было пройти... Государю все это рассказали. Его охватила ужасъ, когда онъ узналъ объ этихъ отвратительныхъ подробностяхъ, и, дабы показать, какъ онъ умѣетъ побѣждать и прощать, онъ одинъ, безъ свиты, завернувшись въ шинель, прошелъ по самымъ зачумленнымъ угламъ сего храма смерти. Дважды онъ пересекъ изъ конца въ конецъ огромныя залы, гдѣ смерть предстаетъ въ тысячѣ мучительныхъ образахъ; его кроткіе и ласковыя слова подобно благодѣтельному бальзаму подбодрили несчастныхъ, которые не знали, кто сей великодушный, вносящій покой въ ихъ душу, кого имъ благодарить за расточаемыя благодѣянія. Онъ все самъ увидѣлъ, обо всемъ распорядился, все смягчилъ своею кротостью, и въ ту минуту, когда его имя стало переходить изъ устъ въ уста, сопровождаясь самыми высокими эпитетами, въ ту минуту, когда какой-то офицеръ узналъ его, онъ покинулъ сію обитель скорби, нуда внесъ радость и довольство, покинулъ ее, оставивъ всѣхъ плѣнныхъ исполненными восхищенія передъ его милосердіемъ, его добротой» (19 декабря 1812 года).

Доброе, заботливое отношение Чичерина к своим солдатам основывается не только на его добродушии, оно имеет у него и принципиальное обоснование. Так велит ему совесть. Интересны некоторые записи: «... Но прежде всего слѣдует думать о солдатахъ; ради нихъ я охотно пожертвую всѣми своими удовольствіями. Я всегда забочусь объ ихъ благополучіи прежде, чѣмъ объ осуществленіи своихъ желаній» (Глава: «Зимнія квартиры». 15 сентября 1812 г.). «... Пошутить съ однимъ солдатомъ, двадцать другихъ услышатъ вашу шутку и посмѣются, а тотъ, кто веселитъ людей, любимъ ими. Будьте внимательны къ нуждамъ солдата, къ тому, что можетъ доставить ему удовольствіе; соблюдайте строгую дисциплину, не допускайте пристрастности, дѣлайте только лаконичныя нравоученія, говорите всегда дружескимъ тономъ, и солдаты васъ будутъ любить» (7 марта 1813 года).

Он так описывает свои регулярные посещения раненых и больных солдат в военном госпитале во время своего длительного пребывания в Плоцке: «... Едва поправившись, я посѣтилъ госпиталь, обошелъ всѣ палаты, въ каждой поговорилъ съ тремя или четырьмя солдатами, ободрялъ ихъ, попробовалъ ихъ похлебку, пошутил немножко и, когда я, пробывъ тамъ нѣсколько минутъ, простался съ ними, всѣ они единогласно пожелали мнѣ здоровья. Черезъ два дня я опять туда пришелъ, и теперь хожу въ госпиталь каждый день, соблюдая тотъ же порядокъ. Это мнѣ ничего не стоитъ, даже развлекаетъ меня. И что же, я увѣренъ, что всѣ солдаты тамъ меня любятъ изъ за этихъ пустяковъ» (7 марта 1813 г.). «Я бесѣдую съ солдатами, шутка для нихъ больше значить, чѣмъ лѣкарство: веселье, развлеченье — вотъ единственное пособіе для выздоравливающихъ. Мы съ Фредериксомъ *) разговаривали о своихъ болѣзняхъ, о томъ, какъ пріятно встрѣтить на улицѣ солдата, и больные съ интересомъ прислушивались къ нашей бесѣдѣ. Тема которая была такъ понятна и близка мнѣ».

«Нашъ поручикъ приходитъ каждый день справляться о нашемъ здоровьѣ, словно отецъ родной, и мы за него Бога молимъ».

«Я покраснѣлъ, потому что терпѣть не могу похвалъ, и постарался стблагодарить ихъ шутками, а внутренне былъ внѣ себя отъ радости» (10 марта 1813 г.).

Характерно то, что он пишет о крестьянах еще в самом начале кампании в письме к графине С. В. Строгановой **): «Вы позволите мнѣ, сударыня, напомнить Вамъ наши разговоры о русскихъ? Я всякій день

*) Товарищ по полку.

**) Как и дневник, письма написаны по-французски.

нахожу человекъ десять — одинъ лучше другого . . . Прибывъ въ деревню, я первымъ дѣломъ иду въ избу старшего между крестьянами; онъ мнѣ указываетъ самыхъ бѣдныхъ, самыхъ разоренныхъ, и это у нихъ я прохожу курсъ морали, у нихъ учусь любить отечество . . . »

Его душа отзывается и на нужды бедного странствующаго арфиста в Силезии с его маленькой дочерью, которая аккомпанирует отцу на большом тамбурине (17 июня 1813 г. в лагере под Бюллау).

Его сердце открыто всему прекрасному, доброму и ценному, откуда бы ни приходило. Его патриотизм, его любовь к родине ничего не имеет общего ни с шовинизмом, ни с огульным отрицанием всего иностранного: «Я не люблю людей, которые преувеличенно выражают свои чувства и не хотятъ ни видѣть, ни слышать, ни ощущать ничего внѣ Россіи» (23 марта 1813 г.). Он уважает чужие религиозные чувства. Войдя раз в синагогу в Плоцке (чтобы посмотреть еврейское богослужение) он говорит себе: «Вѣдь это тоже — религія, это тоже — народъ, вѣрующій во Единаго Бога, въ Провидѣніе, умѣющій молиться; я долженъ вступать въ ихъ храмъ съ благоговѣніемъ къ Божеству» . . . «Я постарался сдѣлать серьезное лицо, чтобы меня не сочли насмѣшникомъ» (3 апреля 1813 г.).

Что же является источником всей этой духовной силы, этой духовной чистоты и красоты, этого морального вдохновения юноши? Мы отчасти ответили на это. Родной дом, традиции глубоко религиозной и нравственно и культурно высоко стоящей родной семьи, в которой были развиты чувство благородства, голос совести, чувство ответственности перед Богом. людьми и родной страной и где господствовала не атмосфера сухих моральных прописей, а живой и нежной взаимной любви. Несмотря на его сдержанность в выражении чувствъ, у него вырываются невольныя такія признания: «Любовь, которую я къ нимъ (къ моимъ родителямъ) питаю, это — чистое пламя, возвышающее мое сердце; оно является источникомъ для меня тихой радости, нисколько не мѣшая мнѣ испытывать другую радость. Но эта любовь, принадлежащая только имъ, составляетъ часть моего существа, и я до смерти не разстанусь съ ней» (23 марта 1813 г.).

Пообедав с друзьями, он любит уходить к себе, чтобы провести несколько часов один перед камином и мыслями переноситься к своимъ близким. Вот еще записъ: «Слова слишкомъ блѣдны, чтобы разсказать о моей любви къ нимъ (— родителямъ). Ихъ великія достоинства и моя благодарность останутся со мной каждую минуту моей жизни, радуя меня, укрѣпляясь все прочнѣе въ моей душѣ. Только ради нихъ живу я и дышу, и это мое счастье слишкомъ драгоцѣнно, чтобы дѣлиться имъ съ людьми, врядъ ли понимающими его цѣну» («Воспоми-

пания», 6 марта 1813 г.). Он глубоко потрясен и взволнован добротой и нежностью отца, который приехал к нему на позиции (под Красной Пахрой и Калугой), снабдил его теплой великолепной «палаткой», теплым сдеялом и благословил маленьким образком, одел его заново с ног до головы (9 и 11 сентября 1812 г.). Письмо от матери придает ему силы (19 января 1813 г.).

Эта духовная сила, вытекающая из общения с семьей, глубоко религиозно обоснована. Он так описывает, как отец благословил его на поход: в ту минуту, когда он жалел о потере им дорожного образка, который он где-то нашел по дороге, «батюшна достал из своего бумажника образок, коимъ его благословила мать, и подалъ мнѣ, совѣтуя всегда носить при себѣ. Въ порывѣ чувства я бросился къ ногамъ дорогого отца и, поцѣловавъ его руки, почтительно принялъ изъ нихъ эту священную защиту, залогъ счастья, обезпеченнаго родительской заботливостью» (9 сентября 1812 г.). Онъ охвачен волнением, когда после долгого перерыва попадает в Плоцке на православную службу. «Я вошелъ въ комнату, гдѣ священникъ служить. Я тутъ каждый день вижу похороны, присутствовалъ изъ любопытства на католической службѣ, но цѣлыхъ три мѣсяца не слыхалъ родныхъ молитвъ. Меня охватило глубокое волненіе, когда священникъ надѣлъ торжественныя ризы и кроткимъ голосомъ началъ молитвы» (Глава «Религия» 22 марта 1813 г.). Его собственное глубокое религиозное чувство заставляет его — как мы уже видели — уважать и религиозное чувство других. «Вѣдь всякій человекъ», — говоритъ онъ себѣ, — «все равно, кто онъ — русскій, еврей или французъ — подобенъ тебѣ, и ты долженъ уважать его взгляды и самыя его заблужденія, если онъ искренно убѣжденъ въ ихъ искренности» (3 апреля 1813 .).

Что же скажем в заключение? Перед нами пример зарождения изумительно богатого и привлекательного синтеза: высокая культура, насыщенная любовью к родине и религиозно-нравственным содержанием. Это — одно из семян того обильного посева, что оплодотворил русскую почву и подготовил великую жатву русской культуры 19-го века — истинно национальной культуры и вместе с тем столь обще-человеческой, религиозно обоснованной, питающейся в значительной мере из патриархальных традиций верующей, любящей и духовно-утонченной семьи и исполненной юношески-творческого динамизма *).

*) См. об этом мою книгу "Из русской культурной и творческой традиции", 1959 г., Франкфурт-на-Майне, изд. "Посев".

(В следующем номере продолжение — С. Жихарев).

Николай Арсеньев .

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ

В послевоенное время Борис Поплавский оказался совсем забытым. Представители новой эмиграции, как поэты, так и критики, ни словом о нем не обмолвились.

А между тем, и как поэт (проза Поплавского до сих пор полностью не опубликована) Поплавский куда интереснее некоторых других, например, Юрия Одарченко, которого литературные новоэмигранты приняли как своего.

Вышедшая в 1965 году, по случаю тридцатилетия со дня смерти Бориса Поплавского, его книга стихов «Дирижабль неизвестного направления» была отмечена только одной статьей *), — больше не нашлось на нее откликов.

Однако судьба поэта в будущем часто приносит неожиданности.

Проходит время, какой-то намеченный судьбой срок, и вдруг — из под спуда — он появляется.

В 1967 г. как мне известно, Борисом Поплавским стали интересоваться в Советском Союзе.

Есть там проект опубликовать ряд его стихотворений.

Книги Бориса Поплавского (за исключением, увы! «Дирижабля неизвестного направления») имеются там; там он, наконец, «дошел», а ведь настоящая «жизнь» русского поэта может начаться только в России.

Евгений Евтушенко во время своего недавнего пребывания в США в беседах с американскими литературоведами упомянул имя Поплавского.

В первый раз за все послевоенное время калифорнийский профессор Саймон Карлинский в своей статье об Иннокентии Анненском в № 85 «Нового журнала» говорит и о Поплавском.

Лед, таким образом, тронулся — и в Советском Союзе, и за границей.

Будем надеяться, что вскоре о Борисе Поплавском появятся статьи, а может быть, и монография.

*) Ю. Терапиано. Борис Поплавский: "Дирижабль неизвестного направления" "Русская мысль", № 2452, 16 апреля 1966 г.

Борис Юлианович Поплавский родился 24 мая 1903 года в Москве, погиб трагической смертью *) в ночь с 8-го на 9-е октября 1935 года, в Париже.

Он считался одним из самых выдающихся поэтов зарубежного поколения, а также — подающим большие надежды прозаиком.

Помимо литературных интересов, Поплавский был глубоким, духовно одаренным человеком.

Он весь еще находился в становлении (иначе и быть не могло в его возрасте), он еще не вполне нашел себя, он мучительно, с болью, с ненавистью, с любовью бился над разрешением задачи: как писать, чем жить, с кем идти — с Богом или без Бога?

Периоды духовного подъема, периоды веры в свои силы, сменялись в нем периодами упадка, когда ему казалось, что «все ни к чему», что «не стоит писать», что творчество — ненужный самообман, ложь.

Он мечтал стать аскетом, прорваться к самым глубоким метафизическим основам мира «по ту сторону потустороннего», и в то же время страстно хотел жить и ничто человеческое не было ему чуждо.

Более того, как человек, Поплавский имел много слабостей, но никогда не старался оправдывать себя и сам, первый осуждал себя за них.

Быть может, именно это непрестанное духовное усилие и сознание своей греховности так возвышало Поплавского среди других тогдашних его коллег, настроенных, главным образом, «эстетически» и «практически», хотя на Монпарнассе было принято говорить о метафизике и о всяких духовных вещах.

Поплавский, вероятно, был единственным, кто стремился превратить теорию в практику.

Он каялся, ходил в церковь (обычно тогда, когда там не было службы, в пустую церковь), хотел стать другим, лучшим, но тут же и грешил, и лгал, порой кощунствовал — и если во всем этом хаосе чувств, идей и поступков он и сам с трудом мог разобраться, то за всем этим все-таки, в главном, была мечта приблизиться к Богу.

В своих стихах, прозе и статьях Поплавский тоже искал — срывался, снова поднимался на большую высоту творческого порыва, иногда — явно бросал вызов «пошлякам и мещанам», — во всем он был своеобразен, замечателен и необычен.

Для критиков, охранявших «заветы Пушкина», для приверженцев парнасской школы многие стихи Поплавского были неприемлемы и даже возмутительны:

*) См. мои "Встречи", Главу о Борисе Поплавском.

Ан по небу летает коро́ва
И собачки на крылышках легких.
Мы вернулись в половине второго
И дышали всей тяжестью легких...

Его гиперболы, его импрессионизм и сюрреализм, наконец, сама стихия его ритмов, с невероятной щедростью погружавшая нас в потоки «сладости и нежности» (как выразился один из тогдашних критиков), — все это было для них «черезчур» и «не к месту», порой казалось «сплошным хаосом».

Правда, у Поплавского редко можно встретить стихотворение, выдержанное до конца.

Иногда у него попадаются и неправильности языка, и неверно падающие ударения, а некоторые его метрические эксперименты способны потрясти своей путаницей.

И все же не только отдельные метафоры и образы, но и целые строфы у Поплавского настолько поразительны и необычны, что они захватывают читателя, очаровывают и увлекают своим упорно-повторяющимся напевом.

В этом смысле «Флаги» (1931), первая (и последняя при жизни) книга Поплавского особенно замечательна. К сожалению, Поплавский не сумел произвести необходимого отбора. Если бы он во-время посоветовался с кем-либо из более опытных своих друзей, переработал бы или вовсе исключил некоторые стихотворения, эта книга была бы до сих пор одной из лучших книг в зарубежной поэзии.

Свою ошибку Поплавский понял уже после выхода «Флагов» и очень жалел об этом, но он сделал, к несчастью, неправильный вывод в том смысле «какой должна быть поэзия».

Он осудил свой сюрреализм, решил стать более сухим и сдержанным, сблизиться с неоклассицизмом.

При жизни Поплавскому не пришлось выпустить следующих за «Флагами» книг. Но вышедшие посмертно «Снежный час» (стихи 1931-35 г.г.) и «Венок из воска» лишены необычности и своеобразия «Флагов», с их чудесным напевом.

Новые стихи Поплавского суше, но зато они ближе к победившей в начале тридцатых годов новой школе, к «парижской ноте» (последнее название придумал сам Поплавский), сознательно отрекшийся от всех внешних эффектов и стремившийся говорить «о самом главном» приглушенным голосом.

Стихи «Снежного часа» и «В венке из воска» более зрелые, чем во «Флагах», но в них гораздо меньше прелести и свежести.

Необходимо сказать, что «Флаги» действительно юношеская книга Поплавского, стихи написаны в возрасте от 16 до 24 лет.

Последний, вышедший в 1965 году сборник Поплавского «Дирижабль неизвестного направления», содержит стихи, написанные между 1924 и 1935 годами.

Для этого сборника Поплавский отбирал стихи с большим старанием, он хотел в будущем оставить после себя их, «как бутылку, брошенную в океан во время кораблекрушения».

Он включил в этот сборник все, что по его мнению следовало сохранить для будущего и завещал опубликовать его минимум через 25 лет после смерти.

... Слегка поет гармоника дверей,
В их лопастях запуталось веселье
И белый зверь — бычек на новоселье —
Луна, мыча, гуляет на дворе ...

Это ближе к «Флагам», чем к «парижской ноте», ближе к раннему очаровательному зорству Поплавского.

А вот, как во «Флагах», какое-то «астральное» сочетание самых неожиданных образов с нотой жизни и смерти — стихотворение «В сумраке»:

В сумраке сирены капитанов
Огибали темно-синий мыс,
А на башне, в шорохе каштанов,
Астроном смотрел в астральный мир.

Важно шли по циферблату числа —
Маленькие, с синими глазами,
Тихо пели, пролетая, листья,
А внизу бежал трамвай с огнями.

Спрашивали карлики на крыше:
"Ну, а звезды, вечно хороши?"
Улыбался астроном из ниши,
А в машине тикали часы.

Числа знали, — звезды умирают,
И, осиротев, огонь лучей
Все ж летит по направлению рая,
В детские глаза летит ничей.

Быть может, мне возразят, что и «В венке из воска» и в «Снежном часе» Поплавский ничуть не суше, — но не в этом дело.

Читая и перечитывая «Дирижабль неизвестного направления», я погружаюсь в атмосферу того Поплавского, который мне наиболее близок.

В заключение, цитирую два небольших стихотворения из «Дирижабля»:

ДНИ ПОТОПА .

Шум приближался, огонь поыхал за туманом,
Что-то мелькало и снова молчали в столовой.
Лег не раздевшись и руки засунул в карманы,
В свежесть подушек ушел отрицатель суровый.

Снег и не думает больше, не хочет, не знает.
Тихо смеркается лампа и вот темнота.
Жизнь в подземелье огромную книгу читает,
Книга сияет и плачет, она высока и пуста.



У ПАРОМА .

Кто вы там в лодке
Мы летние духи
Смотрим на флаги
Слушаем синие дни
Смех в отдаленьи
Кто-то там в черные тучи
Тихой походкой
Вошел и упал на колени
Море у ног
Он одинок
С белым ликом блее бумаги
Он не сможет сдержать долгожданное счастье
Солнце раскрылось
Живите долго.

(Знаки препинания в этом стихотворении опущены умышленно).

Поэзия Бориса Поплавского, как всякая настоящая поэзия, выдерживает испытание временем.

Это — «*ruesie pure*», и сейчас вполне современная, точнее — вне-временная, подлинная поэзия.

И насколько звук ее чище и прекраснее всяких новейших экспериментов, которые ремесленники стиха хотят выдать за «последнее слово».

Ю. Терапиано .



МОЙ СОВРЕМЕННОСТИК ПО-ЧУ-И

Современник — какое горделивое слово!

Кого современник и чей? — Мой современник? — но исторические даты так перепутаны, а двадцатый век так опозорен!

Я категорически протестую против моей современности кошмарным «историческим» персонажам двадцатого века, — совершенно равнодушен к современникам моим, просто, дикарям Австралии и аборигенам Борнео.

Основное качество культуры — несовременность ее вождей. Ни Платон, ни Данте, ни Шекспир никогда не были современниками своего века. Но надеюсь, — они наши современники.

Если ж мы, оставив «реальную современность», примем «момент» Ипполита Тэна, то лучшей логической базой такого рода научности будет геологическая хронология.

Если принять за год всю историю земли, то, если я не ошибаюсь, человечество — только несколько дней, а культурная жизнь — это только несколько часов в истории земли.

Вот почему современность в «Истории» так запутана, синхронизация часто неточна и еще чаще — недоступна.

Еврейская история — база нашей европейской истории, но синхронизация ее с египетской историей до сих пор совершенно не ясна.

Популярный фильм делает Рамзеса Второго современником Моисея, — Фрейд, для своей псевдонаучной фантазии «Моисей и Монотеизм», тщится уверить нас, что Моисей был только покорным учеником гениального безумца — Ахенатона, а талантливый Великовский более компетентный, но столь же логически неустойчивый, уверен в ошибке на много столетий.

Он считает, что уже пробабка Ахенатона, блистательная Хатшепсут была «Царицей Савской», а ее соперник и супруг дочери Тутмосис Третий разрушил Иерусалимский храм.

Но в нашем сознании — все они, конечно, — современники и какое-нибудь расхождение в 500-600 лет, — несущественно.

Синхронизм и реальность — не синонимы.

Что реально и что же — время? Эти два «пустяшные» вопроса принимаются как всем очевидные понятия и я не воспользуюсь этим для бесцельных философствований, а только позволю себе небольшую синхронизацию:

Бовши круговые заляясь шипят
На тризне прощальной Олега.
Князь Игорь и Ольга на холме сидят,
Дружина пирует у берега;
Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

Нам об этом написал, тысячу лет спустя, славный создатель нашего литературного русского языка, — Александр Сергеевич Пушкин!

А на каком языке «бойцы вспоминали минувшие дни»? Много ли славян было в дружинах Игоря? — Сам он и Ольга, судя по их норвежским именам, — были норвежцы.

А в то же время в Китае жил их современник, очаровательный поэт ПО - ЧУ - И.

Он жил в Сун-Янге. (772-846).

”Это было сказочное время и подземелье «Лампы Алладина» было где-то в окрестности“.

После блистательных школьных лет, он уже в 32 года был назначен членом «Императорской Академии», а в 52 года — губернатором провинции Ханг-Шо.

Блестящая бюрократическая карьера! Но до этого ПО-ЧУ-И должен был сдавать много экзаменов. В своих стихах он сам говорит нам об этом.

Он был мистический философ, что в простонаречье значит — трудно понимаемый. Может быть, в то же самое время, когда Игорь и Ольга сидели на берегу, — ПО-ЧУ-И написал на стене отшельника свои глубокие стихи с вечной мыслью о несоответствии символов:

Доктрина древняя едва ли всем понятна
Слова-дела, дела же лишь слова . . .
Как ложное создание волшебства
Китайской надписи причудливые пятна.

Чаще он скрывал непонятное поэтической мантией явлений и писал и о себе, и о других, как о всем понятной ежедневности. Он критиком себе избрал простую женщину «из народа». Она должна была говорить ему все ли она понимает в его стихах, а если она все же не понимала, то у него всегда были и другие слушатели:

В столицу въезд мне запрещен — живу в Сун-Янге
и горы полюбил в изгнаническом ранге.

Закончив новую поэму о Пэ-Счэк
бывало на Восточный Кряж бреду один.

И там, усталый, я сажусь на камень белый,
беру для метра ветвь зеленую — и смело
пою свои стихи. Сначала сквозь испуг,
потом с вниманьем птицы слушают округ.

Посмешище людей — я горы выбираю:
от городов вдали, но выше — ближе к Раю.

Не надо быть гордым! Изгнание «правды ради» — удел
каждого свободного человека — удел каждого всадника.

Я пришел в шумный город — продать целебные травы
и сел отдохнуть в тени у Синих Ворот заставы.

Будто боясь погони, мчался навстречу мне
какой-то бледный всадник на черном, черном коне.

Кто-то кричал напрасно; его называли имя,
но он скакал, и скакал в тревоге, что узнан ими.

Тогда я у них спросил: «Кто этот странный ездок?
он как будто боится верхом не доехать в срок!» —

«Друг, министр и советник, — смеясь мне отвечали. —

Вчера он жил в почете, богатстве и без печали,

А вот сегодня — изгнан. Изменчива жизнь всегда,
и вот живут рабами вчерашние господа . . . »

К зеленой долине Яй-Шу, от города Синих Ворот
Высокий и длинный подъем зеленой полоски ведет . . .
Ну что ж! На горах облака, и тихо в далеком краю,
Быть может, — он там получит награду свою.

Наталья Логунова

КРАСНЫЕ РОЗЫ



Изумруд зелени.
Любопытство молодого разноцветья.
Весенняя солнцепека.
Мягкость распутного ветерка.
Лентой брошенная река.
На взгорье — чащоба леса.
Кирпичом уложенные улочки,
После грохота войны уютные, притихшие.
Одинокое вышагивание.
По военному —
Левой-правой, левой правой, левой-правой . . .
левой-правой . . .
Скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип . . .
До двери больницы,
Массивной, тяжелой.
За ней друг, потерянный в войне.
По лестнице вверх
Топ-топ, топ-топ, топ-топ . . .
По ковру коридора
Шурх-шурх, шурх-шурх, шурх-шурх . . .
Тишина тут особенная —
Скучная, нетревожная.
Навстречу белая косынка.
Веснушки, вздернутый носик.
«Прямо . . . последняя дверь налево».
Ринулся вперед.
Задержала в движении
И совсем тихо, по секрету:
«Ампутированы ноги . . . Будьте осторожны».

Как обухом по голове.
Запутались ноги в ковре,
Пушистом, в бросках солнца.
Не прошагать туда, проползти бы!
... Плечо к плечу шли в атаку.
Спали обнявшись на голой земле.
Холодали, голодали ...
Берлин брал с другими.
Упорно протискивались на Запад.
К старинным готическим городам
Почти не тронутым бомбами.
После грохота орудий —
Тишина до ушного звона.
В одном — известие о друге:
Ранен. В больнице.
А что калека — не знал.
Тонули ноги в ковре коридора.
Без скрипа, без топа.
Повернул ручку двери —
Шурх ...
Белоснежье постели
И до боли знакомый голубой взгляд.
В себя, в душу.
Не слышал оха двери.
Через порог в палату.
— Ваня!
Узнал не сразу.
Будто отсутствовал.
Просиял, притуманился воспоминанием.
Неслышно к постели.
— Ваня!.. Жив!..
Протянул руку.
Из-под одеяла навстречу другая —
Слабая, бледная.
Разговор о близко-далеком.
Вышаривающий взгляд по постели:
В ногах одеяло на пустоте.
Отвел глаза.
А они произвольно вновь и вновь.
Поговорили, помолчали.
— Знаешь ...

— Не надо . . . Не грусти . . . Буду навещать.
Поднялся, шагнул к двери.
А его взгляд на ногах.
Провалиться бы!
Не перешаг, перелет порога.
Взгляд волочил за собой.
За дверью заспешил
Туп-туп, туп-туп, туп-туп . . .
По лестнице стремительно вниз
Шурх . . .
И уже на улице.
Красно-закатное солнце зажгло лес,
Скатилось на острие сосны,
Проткнулось насквозь.
Топ-скрип, топ-скрип, топ-скрип, топ . . .
Быстро, бодро.
Звучно откликалось эхо —
Топ-скрип . . .
Ноги спешили, пританцовывали, жили.
Здоровые, крепкие.
С весенней зеленью тонул в возможностях,
В хотеньях.
Пока жив, пока здоров, пока молод.
А безногий призрак не отставал ни на шаг:
Я здесь, я здесь, я здесь . . .
Опять притянул назавтра
С букетом весеннецветья и приветом друзей.
Протопал наверх.
Прошуркал по ковру к последней налево.
Дверь полуотворена,
В щели силуэт женщины.
Изящной, нежной, нарядной.
Пальцы в драгоценных ободьях.
Ласкают, нежат волосы Вани.
На коленях две красные розы.
Как раны
И как любовь.
Безногая любовь инвалида войны.
Посторонний тут лишний.
Отшагнул назад.
Навстречу вчерашняя сестра.

Протянул цветенье ей.
Курносый носик в разноцветье букета.
Из-под косынки благодарный взгляд.
И веснушки.
На улице движенье,
Свежедыханье.
Нарядные женщины,
Позывающие взгляды.
А там одна.
Единственная.
И красные розы, кричащие о любви.
Настоящей, жалостливой, жертвенной, себязабывающей,
Предназначенной не всем.
Одному из тысяч.
Выстраданной нечеловеческими муками калекой
На - ве - ки .

* * *

Е. Рубисова. «Содружество». Из современной поэзии Русского Зарубежья. Изд. Камкина 1966. 559 стр.

«Содружество» (Из современной поэзии Русского Зарубежья) — так называется большая (560 страниц) книга, вышедшая недавно в издательстве Виктора Камкина в Вашингтоне, под редакцией Татьяны Фесенко.

Слово «содружество» применяется к группе людей, объединенных между собой общей любовью к чему-либо, общими интересами, общим делом. В «содружестве» русских поэтов общей любовью и общим делом является поэзия, русский язык и стих. Понятие «содружество» предполагает также группу людей, живущих в одно и то же время и общающихся между собой.

Таким образом, целью сборника с этим названием как бы является запечатлеть «сегодняшний день» в русской зарубежной поэзии; «сегодняшний день», который ведь в своем проходящем и текущем заключает и что-то «вечное».

Это удалось составителю сборника — книга получилась на редкость живая, чему много способствует еще та ее особенность, что она включает не только стихи, но и отдел «Поэты о себе» — краткие сведения, данные самими поэтами «о себе». Эти краткие «био- и библиографии» как бы создают непосредственный контакт с каждым из участников, разговор с ним, какую-то теплоту встречи. И то, что эти сведения сопровождаются подписью, еще усиливает впечатление «встречи»: ведь подпись отражает облик и существо человека, почти как лицо, почти как голос.

От этих «встреч», кроме общего впечатления, кроме чувств и мыслей, вызванных стихами, остаются строки и образы, почему-то отмеченные памятью — у всех разные, у каждого чи-

тателя иные, но как-то его обогащающие, что-то прибавляющие к его жизни.

Вот из «скопления звуков» (по выражению А. Ростовского) возникает «палеозойский ящер» «с разрезом скифских глаз» (в стихотворении Н. Мэршена). Или «дерево-знаменосец» И. Елагина, и его стихотворение о душе, которая...

... хотя она здесь со мной,
Для нее я — двор проходной,
Съезв который душа пройдет
От ворот до других ворот.

Или «серый маленький котенок» в стихотворении А. Дарова, который подкрадывается к поэту, принимая шуршанье по бумаге его пера за царапанье мыши:

... Ты крадешься тише, тише,
Все равно ты не услышишь,
Как порой скребутся мыши
Больно на сердце моем...

Или, в стихотворении С. Прегель, прелестная ласточка у оконного стекла, которая

... чиркнув по-иностранному
Уносилась в синий туман.

Или, эти изящные бабочки И. Чиннова:

И две бабочки поздние
У гнилого ствола
Словно крошки амброзии
С золотого стола.

Или это закат в стихотворении Нонны Белавиной:

Закат всю ночь боролся с темнотой.
И победил. И стал рассветом.

Или «Ноктюрн» М. Визи, написанный как бы «одним дыханием»:

Кричи, не кричи —
 За горами погасли лучи,
 Купола облаков потускнели
 Над верхушкой чернеющей ели,
 Потемнела на озере зыбь,
 У коряги заплакала выпь,
 Облетевшие отзвуки песен
 опустились в болотную плесень,
 И никто не услышит твой голос в ночи,
 кричи, не кричи . . .

. . . но лучше оборвать «игру памяти», иначе надо очень много страниц, чтобы писать о беспорядочно и неудержимо всплывающих в памяти стихах «Содружества».

Книга объединяет три поколения русских поэтов зарубежья, живущих в разных странах трех континентов земли. Но, несмотря на разницу стран и обстановки жизни, школ, тенденций, манер и влияний; несмотря на разницу возрастов (от 21-го года до 86-ти лет!) — они все же являются «содружеством», объединенные русским языком и общими корнями в русской культуре, общей судьбой (эмиграцией). Между ними не возникла «китайская стена молчания» (слова из стихотворения Эллы Бобровой, прекрасно передающие трагизм разъединенности). Не чудо ли это: чтобы не раствориться в других странах, языках, трудностях жизни? Ведь столько лет прошло с тех пор, как «странствия ветер подул» (строка из стихотворения Ю. Трубецкого)!

Из всего этого богатства голосов, песен, мыслей и тем, которым является «Содружество», хочется выделить две темы — они звучат и возвращаются особенно настойчиво: «родина» и «время» (— бег времени).

Каждый говорит об этом по-своему, и как по-разному!
 У Ирины Одоевцевой, «крик сердца»:

— Мгновение, остановись!
 Остановись и покатысь
 Назад:
 В Россию,
 В юность,
 В Петроград!
 Крик сердца

.

А у В. Мамченко:

Больные тополи Парижа
На тротуаре — как в бреду, —

в «тополиной» весенней тоске, «в которой слышен речки рокот», в тополиных мечтах, «на родину бредут».

У Татьяны Остроумовой:

... где-то, в полудетском сне,
Звездой падучею, Россия,
Ты до сих пор сияешь мне.

У К. Померанцева, как бы взаимное проникновение разных «планов» пространства и времени:

За окном флорентинское небо
И на нем петербургский рассвет.

У Н. Евсеева — характерная для него нота лиризма:

Как счастлив жребий мой
Что музою Россия
Была во сне со мной.

У Б. Филиппова, «горечь беспредельной вольной доли» — горечь, которую не может уничтожить время.

Время, время... уносятся года,
Словно ветер в поле, словно
В поле вешняя вода.

(Из стихотворения Г. Адамовича "В старинный альбом").

Бег времени отмечает биение сердца. «Сердце, кончается танец твой» (Е. Бакунина). Сужается круг жизни. Время, время...

Где ж найти мне такое слово
Чтобы в нем не звучало время?
Дай мне руку, призрачный друг.
Видишь — наш сужается круг.

(Ирина Сабурова) .

С временем борется память.

Память, память, горькая, святая,
Не стереть глубокие следы.

(А. Шиманская, стихотворение «Мать»)

Как далеко простирается память? Ю. Терапиано, в стихотворении «Памяти Александра Гингера», задает вопрос:

А душа твоя, в преддверьи рая,
В свете несказанно голубом,
На огне, как Феникс, не сгорая,
Помнит ли о нашем, о земном?

В жизни горизонт памяти ограничен. Об этом говорит Н. Моршен:

О, памяти земной река,
Ты здесь светла и широка,
Но как найду я путь во тьму,
Туда, к истоку твоему,

Где хлещет темная струя
Из пропасти добытия?

В центре сузившегося в точку круга «река памяти», водоворотом, уходит в бездну «до-бытия». Ведь бытие (жизнь) — промежуток между двух бездн. Но вот какими, неожиданными и прекрасными, словами говорит О. Можайская о последней бездне:

Что если смерть — не сугроб ледяной,
Если она — тот любимый подснежник,
Нежный, что снился минувшей весной?

Самый отважный, он — вестник победы,
Самый прозрачный в сверкании струй . . .
Если ты вступишь в тот Лес Заповедный
Выйдет навстречу и скажет: «Ликуй!»

Бег времени особенно остро чувствуется и переживается в эмиграции: «передача факела» поэту, писателю, художнику гораздо труднее вдали от родины. Можно иметь «вторую родину» и любить ее — приемную мать. Но корни творчества русского писателя или поэта — в русской культуре и русском языке.

Я знаю, что знаю, доказательств не требуйте,
В конце неизвестно каком, вдалеке,
Вы заговорите и блаженно забредите
На том, на родном, на моем языке.

(Юрий Иваск) .

За тридцать один год (1936 - 1967) в эмиграции вышли пять антологий русской зарубежной поэзии: «Якорь» (изданный Г. Адамовичем и М. Кантором в 1936-ом году), «Эстафета» (1948, под редакцией Ю. Терапиано, В. Андреева и Ирины Яссен), «На Западе» (под редакцией Ю. Иваска, в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке), «Муза Диаспоры» под редакцией Ю. Терапиано (1960, Париж). И «Содружество», в 1967-ом году, под редакцией Татьяны Фесенко, в издательстве Виктора Камкина в Вашингтоне.

В «Содружество» вошли еще не опубликованные раньше (или — только в периодических изданиях, а не сборниках) стихи. Это создало трудности для составителя. Об этом говорит Т. Фесенко во вступительной статье: «лица, выпустившие книгу стихов незадолго до того, как мы начали работу над данным сборником, располагали очень ограниченными стихотворными запасами или даже совершенно исчерпали их. Поэтому, к огорчению составителя, некоторые поэты представлены в этой книге с недостаточной полнотой, другие же просто отсутствуют» (этим объясняется, повидимому, отсутствие Д. Кленовского, И. Левина, и некоторых других).

Т. Фесенко говорит дальше: «Нам не удалось установить живую связь со всеми поэтами, участие которых было бы желательно в нашем сборнике, а также познакомиться с творчеством ряда других, чьи стихи могли оказаться ценным и интересным вкладом в создаваемую нами книгу. Однако мы считаем, что объединение 75-ти поэтов разных стран русского рассеяния в результате дружественного общения участников и составителя сборника — явление само по себе положительное и отрадное».

Не будем разбирать здесь поэтических тенденций отдельных участников «Содружества» и классифицировать их по «направлениям». Для этого нет места в краткой статье, и в такой «богатой голосами» книге это не так важно — важны сами «голоса».

Среди участников «Содружества» есть более талантливые и менее талантливые, более опытные и менее опытные, младшие и старшие, «классики» и «модернисты», — но каждому было и есть «что сказать».

«... Все сказано? Нет, не сказано.
У каждого есть свое»

(Кира Славина)

Дать поэту «сказать», а читателю — услышать и понять это требующее отклика «что-то свое» предоставляет новую возможность эта книга, составленная с вниманием и любовью и хорошо изданная; и за это и поэты, и читатели должны быть глубоко признательны издателю и составителю.

И, без сомнения, книга эта — радостное явление на горизонте зарубежной русской поэзии.

Е. Рубисова .

— * —

Е. Рубисова. «ЛАДЬЯ». Георгий Эрстов. Третья книга стихов.

«Ладья», третья книга стихов Георгия Эрстова, состоит из двух частей: «Солнце Италии» и «Млечный Путь». Но «солнцем Италии» равно согреты все стихи книги: это — восхищение красотой мира, сиянием его красок. Недаром эпитафией для своей книги Эрстов избрал слова Тютчева:

«Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!»

Италия издавна была «обетованной землей» русских художников, поэтов и писателей, архитекторов, музыкантов и артистов. Своей древней культурой, как своим солнцем, она питала русское искусство больше, чем какая-либо другая страна. Корни духовного родства с этой страной — в византийской культуре:

Всех нас вскормила, по дороге к раю,
Родная Византии колыбель.

Георгий Эристов живет в Италии уже много лет, знает и любит эту страну. У него острый глаз, он умеет видеть и умеет передать красочно и по-своему то, что видит и чувствует.

Мне поэтического дара
Хватает, чтоб глядеть: на всплески
Ручья, что весело журчит,
На неба яркие лучи . . .
Холмы веселые и рощи
И солнце яркое в зените
Мне говорят о жизни . . .

Эта жизнь — и фрески Равенны, на которых «чудесная столетий тень», и бронзовые ребятишки на улицах, полных солнца и пыли; башня Пизы, клонящаяся, как «зловещий символ»; Неаполь, где «день подобен янтарю», кривые улицы Перуджии, нежный звон гитары на площади, где легли «века, подобно тяжелой лаве».

Особенно любит Эристов Умбрию, родину Рафаэля, искусство которого отразило нежность ее красок. И как грациозен этот неожиданный образ:

Квадрат окна, — под синей дымкой
Долины Умбрии и ель,
А небо красит невидимкой
Кудрявый мальчик — Рафаэль.

В стихотворении «Ассизи» («в гостях у св. Франциска») — светлое спокойствие веры:

.
Видел над фресками Джотто
В пышной базилике гроб.
Нет! Мне нашептывал кто-то,
Встреча у каменных троп!
.

Ласково старец Зосима
Исповедь принял мою . . .
Белое облако мимо
Плыло в отчизну свою.

«Солнце Италии» есть также и солнце русских степей:

И даже небо здесь — мое!
Цветы, как будто бы, степные,
И солнце весело поет
Мне песни звонкие, родные!

— солнце юности и детства, память о детстве, которое в жизни

.....
Как засушенная фиалка
Закладкой будет нежною лежать.

Красота земли не противоречит вечному — вечность отражена и в малом, в красоте цветка. Небо, солнечный луч, ручей, и цветок — все это «вещи вечные»: они старше человека, они были и до него. И там,

.....
Где вечность провела свою черту
Не итальянец ты, не русский,
А человек, влюбленный в красоту,
Предел переступивший узкий.

Лучи этого солнца падают и на фолиант, над которым склонился «мудрец - сапожник» Яков Бёме (стихотворение "misterium magnum"): как с картины Рафаэля сошедший

Ангел прилетел из рая,
Поставил в рукописи точку.

Эти лучи освещают и «Зазеркалье» — фантастический мир сказки «Алиса в стране чудес», где «вечный праздник», где «время вертится, как колесо — в нем часы на месте сердца». Реальность этих небылиц удивительна — и заяц, играющий с поэтом в серсо, и пьяный кот-жонглер, и сама Алиса, трубящая в хрустальный рог.

Природа, искусство, а также и сказка, в которой тоже скрыта какая-то «вечная» правда, защищают, ограждают поэта от сокрушительной власти штандарта (— болезнь нашей цивилизации), ведущей к механизации мышления и чувства, обедняющей и обесцвечивающей жизнь; от дракона до лязгающей и грохочущей машинами современности.

Но даже этот дракон не в силах убить простые радости жизни, составляющие одно из лучших ее богатств, как в этом стихотворении Георгия Эристова «Утро»:

Как славно пахнет свежий хлеб!
Дымится кофе в чашке тонкой,
И день так празднично нелеп,
Поет в окне по-детски, звонко.

Застыл над розой мотылек,
На крыльях радуга играет . . .
Кто мне сказал, что Бог далек,
И на земле нет места Раю?

— — * — —

Ю. ТЕРАПИАНО . Николай Туроверов . «Стихи». Книга пятая, 1965.

— — * — —

Николай Туроверов давно уже известен в эмиграции как талантливый и своеобразный поэт, а его поэзия, глубочайшими корнями связанная с его родным краем и с его историей, отличается подлинным лиризмом и тесно связана с традиционной темой русской поэзии о любви, о жизни, о смерти.

Небольшое стихотворение 1947 года очень верно говорит об этих двух ведущих нотах поэзии Н. Туроверова

Что из этой жизни унесу я,
Сохраню в аду или в раю?
Головокруженье поцелуя,
Нежность неповторную твою?
Или, с детских лет необоримый,
Этот дикий, древний, кочевой
Запах неразвезанного дыма
Над моей родною стороной.

В самых ранних своих стихах и в стихах, связанных с гражданской войной и первыми годами эмиграции, Николай Ту-

роверов полон только-что пережитым и смотрит на все с точки зрения казака-воина, связанного, прежде всего, с родным краем, с казачьими военными подвигами и славой, с горем и бедствием казаков на чужбине.

Он также, как они, мечтает о родном крае, о покинутом доме:

... Но всех роднят напевы вьюг,
Кто в дальних странствиях обижен.
Зимой острее взор и слух
И Русь роднее нам и ближе . . .

Но наряду со стихами, говорящими о своем (например, «Вольница», «Майдан», «Ветер», «Из поэмы Перекоп», «Албанские стихи», «Из цикла стихов о Сербии», «Март» и т. д.), в ранней поэзии Туроверова звучат мотивы о любви, о красоте Божьего мира, о встрече с Европой, с Францией, о судьбе человека вообще, — всякого, каждого, и «краевые интересы» заменяются общечеловеческими чувствами, тем, что касается уже всех и всем одинаково знакомо и дорого.

Обращение к калмычке:

Утпола — по-калмыцки, — звезда,
Утпола — твое девичье имя . . .

и, в тонах и, в ритме начала века, к русской девушке:

Выходи со мной на воздух,
За сугробы у ворот.
В золотых дрожащих звездах
Темносиний небосвод . . .

освещены одним и тем же чувством.

Николай Туроверов не замкнут в узко-личной судьбе русского на чужбине, он умеет чувствовать горе и радости народа, среди которого мы живем, думать и о его судьбах, а не только о нашем, национальном.

Париж, Бретань, Франция, как в ранних, так и в поздних его стихотворениях, сосуществуют с Москвой, с Доном, их прошлое — с нашим прошлым, тени Суворова, Гоголя, Сумарокова, Тараса Шевченко поэт видит наравне с Элладой, с Парижем и остро ощущает трагедию, недавно пережитую всем западным миром.

Отмечу поэму «Легион», с эпиграфом Arthur Nicolet:

"Au paradis ou vont les hommes forts
par le désert d'un long courage", —

историю русского легионера среди африканских песков, в экзотической обстановке колониальной войны.

У Туроверова есть и умение находить нужные образы, и легкость «дыхания», и серьезность, и надежда, и грусть.

Иногда ритмами своими он сближается с классическими ритмами начала прошлого века и так же легко и нарядно вьется его стих:

Можно жить еще на свете,
Если видишь небеса,
Если слышишь на рассвете
Птиц веселых голоса.
Если все дороги правы
И зовет тебя земля
Под тенистые дубравы,
На просторные поля.
Можешь ждать в тревоге тайной,
Что к тебе вернется вновь
Гость желанный, гость случайный,
Беззаботная любовь,
Если снова за стаканом
Ты в кругу своих друзей
Веришь весело и пьяно
Прошлой юности своей . . .

Эта лирическая нота с течением времени все чаще и чаще звучит в стихах Н. Туроверова и можно сказать, что если в начале он отдавал больше внимания тому, в чем участвовал, что внешне — и очень действенно возникло перед ним, в дальнейшем своем пути поэт все больше и больше сосредоточивается на внутренних переживаниях, на смысле жизни и начинает ощущать то и Того, Кто стоит за пестрой занавесью видимого мира:

Прислушайся, ладони положив
Ко мне на грудь. Прислушайся в смущенье.
В прерывистом сердцебиенье
Какой тебе почувдится мотив?
Уловишь ли потусторонний зов,
Господню власть почувствуешь над нами?
Иль только ощутишь холодными руками
Мою горячую взволнованную кровь.

В этом позднейшем отделе книги очень удался Туроверову образ Сумарокова в старости и в упадке, вспоминающего свое прошлое — и призвание поэта:

. .. Не знает поэт человеческих сроков, —
Он видит немеркнущий свет:
За партой стоит Александр Сумароков,
Семнадцатилетний кадет.
И внемлет ему молодая Россия,
Наследье Петровых годов,
Услыша внезапно, услыша впервые
Всю музыку русских стихов . . .

В целом, новая книга Н. Туроверова, содержащая подбор его некоторых прежних стихов 1915-16 г.г., вплоть до позднейших и самых новых (последние стихотворения помечены 1965 г.) достаточно полно и хорошо представляет творческое «лицо» этого талантливой и интересной поэта.

Ю. Терапиано.

— * —

Е. Печаткина.

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Борис Домогацкий. Сидней. Австралия.

—*—

В книге 27 очерков. Все они разделены на три отдела по годам.

Первый отдел 1950-1960 г.г. Это короткие рассказы-воспоминания, имеющие то или иное отношение к праздникам Рождества Христова и Пасхи. Пред читателем реально встает прошлое, вызывает грусть. Вдумчивый, внимательный автор в скупых словах описывает тот или иной эпизод, всего страничек 5-6, который однако дает рельефную картину того, что было и что уже ушло.

Грустные рассказы и второго отдела, периода 1964-65 г.г. В литературном отношении эти рассказы сильнее других. Наблюдательный автор талантливо изображает самые разнообразные типы русских эмигрантов, по большей части оказавшихся в совершенно неожиданных для них профессиях. Один за другим проходят несчастные обиженные судьбой люди; или встают другие — недобрые, завистливые, затаившие злобу против тех, кто еще бережет в себе кусочек радости. Люди эти безусловно взяты из жизни, они среди нас, живут нашими интересами, затянuty нашим эмигрантским бытом со всеми его надеждами и разочарованиями. Без лишних слов автор умеет создать нужный образ, обрисовать трагич-

ность положения. Но передает это он не пером холодного наблюдателя, а с теплотой, с сожалением к человеку. На каждом из них лежит «память сердца» автора.

Даже описываемые им в третьем отделе (1966 г.) дома — и те живут. Они действительно, как в своем вступлении заявляет сам автор, рассказывают истории «о всех пришедших и ушедших». Впитав в себя мысли, думы и дела живших в них людей, дома эти говорят о многом. Но чтоб понять их язык, надо тоже быть таким чутким и наблюдательным, каким является Борис Домогацкий. У него это получается искренно и убедительно. И читатель вместе с ним сочувствует всем его несчастным, обездоленным героям, которые калейдоскопом проходят перед ним, и вместе с автором он испытывает гнев и возмущение за несправедливо обиженных. Ведь и на самом деле в жизни немало злобы, жестокости, насилия; многим нашим соотечественникам действительно досталась тяжелая доля. И изречение Бориса Пастернака, взятое автором эпиграфом к этой книге, как нельзя лучше оправдывает ее содержание: «Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь».

— * —

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МУЗЕ МУЗЫКАНТА.



В. А. ДУКЕЛЬСКИЙ
(Vernon Duke)

Третий сборник стихов В. Дукельского — «Картинная галерея» (Мюнхен, 1965) появился через сорок пять лет после того, как этот оригинальный автор, по его собственному признанию, впервые начал писать стихи, но всего лишь через три года после выхода в свет его первой книги стихов «Послания».

В краткой автобиографической справке, написанной недавно для сборника стихов поэтов русского зарубежья «Содружество», В. А. Дукельский отмечает:

«Писать стихи начал рано, в 1920 г. (следовательно, семнадцатилетним юношей! Т. Ф.) основал с Бо-

рисом Поплавским Цех поэтов в Константинополе. Карьеру композитора официально начал с постановки С. П. Дягилевым в 1925 г. моего балета «Зефир и Флора» (с декорациями Брака, костюмами Шанель и хореографией Л. Мясина), позже обошедшего все европейские сцены». Добавим, что ныне имя Vernon Duke хорошо известно не только в музыкальном мире, но даже рядовым американцам, видевшим фильм, музыку к которому написал автор «Картинной галереи».

Неудивительно поэтому, что книга открывается признанием:

... Я среди поэтов — композитор,
Среди композиторов — поэт.

и что столько строк в ней посвящено музыке, не говоря уже о целых стихотворениях, озаглавленных «Рояль» или «Баркаролла».

В. Дукельский прочно вошел в американскую жизнь, он связан с этой страной не только своей работой, но и благодаря семейным узам; однако в своем поэтическом творчестве он остается глубоко русским человеком, несмотря на приверженность к западной культуре. Дукельский, который

... В дни обеих революций
был беззаботен и безуз...

не без горечи вспоминает:

Консерваторский ветхий клирос,
где музыка — единый Бог,
где неожиданно я вырос,
но до мундира не дорос,
как не дорос и до России.

Веленьем беженской стихии
я в страны дальние увез
рисунки и стихи плохие
и талисман — надежды луч:
ко всем дверям скрипичный ключ.

(стр. 56).

Глубокой искренностью дышат строки стихотворения, посвященного родной стране:

Я, может быть, других нежней
Люблю глаза твои косые,
Но не сусальность, не елей
Лубочной, пряничной России...

(стр. 67)

В стихотворении «В России я не был с двадцатого года» В. Дукельский пишет:

Осталась наверно и прелая прелесть
В таких же пахучих садах,
Такая же песенность в том же апреле
В по-новому старых стихах.

”Но призраки эти меня не волнуют . . . “

говорит он, сознавая, что

Добравшись домой, теплоты не верну я,
Возлюбленной там не найду.

(стр. 58).

Эти строки как бы переэкликаются с елагинскими:

Мне не знакома горечь ностальгии,
Мне нравится чужая сторона . . .

Нравится она и Дукельскому:

Резвый ручей серебристее Терека,
Озера блеск в обрамленьи сосновом.
Это — простая, незлая Америка . . .

(стр. 43).

В Америке мне нравится добротность,
Радушье, наивность, беззаботность . . .

(стр. 42) .

Но и в американской среде, и в среде русской эмиграции у Дукельского есть заклятый враг — мещанство. Именно против него обращено острое таких беспощадных стихов, как «Общий знакомый» (Вот вертлявый как волчок / землячок-русачок) и «Портрет без модели» (В руках костлявых и длинных / не Евангелие — номер Vogue).

В. Дукельский может быть очень резок в своих стихах в отношении людей, но с какой доброй улыбкой пишет он иногда о незамечаемых и даже иногда обижаемых людьми предметах! В книге, названной «Картиной галерсей» и «славной»

” . . . невоспетыми
Обыкновенными, бранными предметами . . . “

прелестны стихи «Белье в саду», «Апельсин», «Стул», «Старый пиджак», «Зонтик», «Будильник», «Плита», «Лестница», «Футляр» и особенно — «Телефон».

Стихи Дукельского вообще очень своеобразны. Это прежде всего — разговор с другом и недругом, с читателем и с самим собой. Разговор

этот, облаченный в рифмы и облеченный рифмами (нередко оригинальными и изобретательными: «по стране гром — негром», «педант ли вы — талантливый» и др.), то шутивно-легко, то горько-откровенно, как, например, обращение к самому себе:

Это послание — не хвалебная здравица:
Голос громок, но сердце помалкивает.
Кое-что мне в вас нравится,
Очень многое отталкивает.
Ваша муза музыкантов не трогает,
Не доходит, порой не доносится:
Да, голубчик, — дано вам многое,
Очевидно, многое и спросится.

(стр. 59).

Действительно, В. Дукельскому дано многое — это, как любят говорить американцы, «человек Ренессанса», т. е. проявляющий себя в разных областях искусства. Эрудиция автора, не только обладающего прекрасной библиотекой (см. «Мои книги», стр. 20), но и хорошо знакомого с содержанием томов, стоящих на его полках, чувствуется почти в каждом стихотворении. О ней свидетельствуют и разнообразные переводы, занимающие в «Галерее» почти треть места. О них я здесь говорить не буду, не имея сейчас возможности сравнить их с оригиналами.

Заканчивая краткий обзор книги, замечу, что читателю, ищущему именно разговора с вдумчивым, оригинальным, всегда готовым к полемике автором, книга В. Дукельского несомненно доставит удовольствие. Судя по включенным в нее стихам, автор из мира музыки все заметнее уходит душой в мир поэзии, очевидно дающей ему теперь больше возможности для выражения своего «я». Так, в одном из, по-моему, лучших стихотворений сборника — «Метаморфоза» (стр. 73) В. Дукельский так и говорит:

Давно ушли Россия, детство, дача,
Любимый лепет липы иль ольхи,
Но, кажется, я только-только начал
Писать свои бездомные стихи.
Быть может, я нашел иные звуки,
Что непривычной музыки звучат,
Их по-иному нежен аромат.

.....
Быть может, мне, поэзия, дано
Испить твоей воды, легко журчащей, —
И сердце прожужжит пчелой блестящей
И, отжужжав, опустится на дно.

Надеюсь, что это случится не скоро и новые, действительно «легко журчащие» стихи Владимира Дукельского наполнят еще не один сборник.

Татьяна Фесенко .

— * —

ВОСЬМОГО ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА В ТОРОНТО В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ROYAL YORK HOTEL СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БАНКЕТ ПО СЛУЧАЮ СТОЛЕТИЯ КОНФЕДЕРАЦИИ КАНАДЫ. БАНКЕТ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН РУССКИМ ЮБИЛЕЙНЫМ КОМИТЕТОМ ПРОВИНЦИИ ОНТАРИО .

С БЛЕСТЯЩЕЙ РЕЧЬЮ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ И ЖИЗНИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ В КАНАДЕ, ВЫСТУПИЛ МИНИСТР КАНАДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЯХ Г. П. ИГНАТЬЕВ.

КРАСИВО И ВЕЛИЧЕСТВЕННО ЗВУЧАЛ СОЕДИНЕННЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ РУССКИЙ ХОР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ В. С. МИХАЙЛИЧЕНКО, ИСПОЛНИВШИЙ ГИМНЫ КАНАДЫ И ПРИНЯВШИЙ УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА.



В КОНЦЕРТНОЙ ЧАСТИ БАНКЕТА ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ПИАНИСТ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ, СТУДЕНТ КОНСЕРВАТОРИИ, НАГРАЖДЕННЫЙ ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯННОЙ МЕДАЛЯМИ ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В КОНСЕРВАТОРИИ ПО КЛАССУ РОЯЛЯ, С БОЛЬШИМ МАСТЕРСТВОМ ИСПОЛНИЛ РОЯЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ Ж. ВИЛЬЯМСА В ДО - МАЖОР, 3-Ю ЧАСТЬ СОНАТИНЫ КОБАЛЕВСКОГО И ВАРИАЦИИ БАХА .

Виктор . Алексеев .

ОГЛАВЛЕНИЕ

— — —

КАНАДА	3
М. Могилянский. ИСТОРИЯ КАНАДЫ	5
ПАУЛИН ДЖОНСОН - ТЕКАГИОНАУКЕ	24
ДВЕ СЕСТРЫ — индейская легенда	25

— — —

Юрий Трубецкой. СМУТА, Часть II: «Полымя на Руси»	28
А. Аристова. МЕМЕТО MORI!	46
Н. Ярцева. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ	50
Е. Печаткина. ГРАФ	55
И. Юрьев. ЧУВСТВО ДОЛГА	60
Элла Боброва. ИРИНА ИСТОМИНА. Отрывки из повести в стихах	81

— — —

ПУШКИН 1837 - 1967

Н. Косачева. РЕАЛИЗМ В РОМАНЕ ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»	86
Вадим Тургаев. А. С. ПУШКИН и Е. А. КАРАМЗИН	105
Наталия Логунова. КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТА	113

— — —

СТИХОТВОРЕНИЯ

Аглаида Шиманская. «Забудь страданье — полюби...»	119
Николай Туроверов. КОЛДОВСТВО	119
В. Сумбатов. ПОЛЫНЬ	120
Клавдия Пестрово. «Так вот оно» — преддверье Рая...»	120
Галина Соболева. В САДУ	121
И. Ю. НОЧЬЮ	122
С. Л. Войцеховский. ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ	122

— — —

Проф. Владимир Седуро. ДОСТОЕВСКИЙ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ КРИТИКЕ	124
--	-----

— — —

Николай Арсеньев. ДВА РУССКИХ ЮНОШИ НАЧАЛА XIX ВЕКА ПО ИХ ДНЕВНИКАМ — А. ЧИЧЕ- РИН и С. ЖИХАРЕВ. 1. АЛЕКСАНДР ЧИЧЕ- РИН	133
--	-----

— — —

Юрий Терапиано. БОРИС ПОПЛАВСКИЙ	142
--	-----

— — —

Андрей Галицкий. МОЙ СОВРЕМЕННИК ПО-ЧУ-И	147
Наталия Логунова. КРАСНЫЕ РОЗЫ. Стих.	150

— — —

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Е. Рубисова. «СОДРУЖЕСТВО». Из современной поэзии Русского Зарубежья. Изд. Камкина 1966 г. 559 стр.	154
Е. Рубисова. ЛАДЬЯ. Георгий Эристов. Третья книга стихов.	160
Юрий Терапиано. Николай Туроверов. «СТИХИ». Книга пятая, 1965 г.	163
Е. Печаткина. ПАМЯТЬ СЕРДЦА. Борис Домогацкий. Сидней, Австралия.	166
Татьяна Фесенко — НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МУЗЕ МУЗЫ- КАНТА. О третьем сборнике стихов В. Дукель- ского «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ» (Мюнхен, 1965)	167



Стоимость подписки на ЧЕТЫРЕ номера журнала — 5 долларов. Все расчеты по подписке вне КАНАДЫ следует производить, придерживаясь курса канадского доллара.

Цена отдельного номера в Канаде и США — 1 дол. 50 ц.
во Франции — 5 франков.

СОВРЕМЕННОК ПРОДАЕТСЯ

в Канаде:

Walter's Book and Gift Store
454 1/2 Dundas St. West, Toronto 2B, Ontario.

во Франции:

Les Editeurs Reunis
11, rue de la Montagne Ste-Genevieve, Paris 5-e.

Maison du Livre Etranger
9, rue de l'Eperon, Paris 6 e.

в Соединенных Штатах:

The Book House
77 Plaza, Room 103-105, Bridgeport 3, Connecticut

Novoye Russkoye Slovo
243 West 56th St., New York 19, New York.

Anatole E. Loukashkin, Book and Subscription Agency
1212 - 23rd Avenue, San Francisco 22, California.

Victor Kamkin, Bookstore
1410 Columbia Road, N. W. Washington, D. C. 20009

S. Davidova
4647 Pacific Ave., Detroit 4, Mich.

в Австралии и Новой Зеландии:

Book I
18-24 C
Victori

Sovremennik Publishing Association Incorporated
44 Gower St., Toronto 16, Ontario, Canada

V. SAVIN, Editor